Алексей Ивин

Рассказы по алфавиту

Алексей Ивин

Рассказы по алфавиту

«Издательские решения»

Ивин А.

Рассказы по алфавиту / А. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747255-9

В книге собраны рассказы, написанные с 1972 по 1997 годы. Частично опубликованные в журналах, самые разнообразные по тематике и стилистике, они отражают сельскую и провинциальную жизнь, в основном глазами молодых героев.

ISBN 978-5-44-747255-9

© Ивин А.

© Издательские решения

Содержание

Броуновское движение 6
В начале поприща 12
Василий Иванович 18
I 18
II 21
Вечерняя притча 23
Воскресная прогулка 26
Девушка с васильковыми глазами 32
Дождливым вечером 36
Дом на крови 40
Заболевание сосны 43
Запасной вариант 45
Зеленый островок 50
Канун творения накануне Пасхи 58
Каскадер, или У нас с тобой ничего не получится 61
Кому повемь печаль мою? 68
I 68
II 71
Конец ознакомительного фрагмента. 74

Рассказы по алфавиту
Алексей Ивин

© Алексей Ивин, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Броуновское движение

Семену Подольскому надоело жить. Сперва он ушел от родителей, потом из института, потом от жены. Когда он снова вернулся в родительский дом, мать уже умерла. На завтрак, на обед и на ужин они с отцом ели картошку в мундирах с солеными огурцами. Подолгу на одном месте Подольский работать не умел: надоедало. Он мечтал иметь автомобиль марки «пежо», нескольких красивых любовниц разных национальностей, друзей, много денег, фирменные джинсы, загородную виллу, яхту. Ничего этого у него не было. Ему исполнилось тридцать пять лет, он начал седеть. Носил брюки, сшитые на калининской швейной фабрике, и отцовскую клетчатую рубаху. У отца жил уже шесть недель. Сперва все было внове, казалось, что он возвратился в счастливое детство, потом навалилась тоска. Отец получил пятьдесят два рубля пенсии, и они вместе ее пропили. Отправляться в дальние странствия теперь было не на что. И тогда Подольский решил, что надо попробовать повеситься.

Он взял веревку, ловкий маленький топорик, толстый баржовый гвоздь и вышел из Бусыгина по Новолазаревской дороге. «Решат, что я опять в лес пошел», – подумал он: иногда он уходил в лес, сооружал там шалаш и ночевал в нем. Так поступал он в том случае, если отец говорил, что пора бы ему браться за ум и устраивать свою судьбу; «слава богу, не двух по третьему», ворчал отец. В шалаше было очень тихо, никто не досаждал, только звенели комары да ухал филин; проснувшись, Подольский завтракал кореньями, щавелем и черникой, купался в реке и ловил рыбу, которую съедал вечером. «Если повеситься не смогу, пойду снова в лес», – подумал он. Гвоздь он взял неспроста; конечно, в лесу достаточно прочных суков, но ему хотелось оформить это дело культурно. Одно такое культурное место он знал, но там не на чем было повиснуть даже картине, не то что человеку.

Он вышел за околицу и вдохнул застоявшийся воздух ячменных полей, окутанных сумраком. Над низкой лощиной поднимался сизый туман; черные ивовые кусты стояли по пояс в тумане неподвижно, как лошади на водопое. Было безветренно и душно. Навстречу, обволакивая небо и землю, неуловимо и бесшумно, но неуклонно надвигалась пепельно-сизая грозовая туча, изредка разрывая мрак проблесками отдаленных молний. От ее неукротимого движения на душе у Подольского было весело и страшно. Оцепенелая окрестность тягостно ждала, как сладостного бичевания, порывистых натисков крепкого, тугого ветра, дождевого шквала, фосфорического сияния молний, которые вонзаются в землю, распространяя богослужебный дым.

Подольский свернул на придорожную тропу. Поля остались позади. Тропа вилась среди ольшаника и молодых берез. Они заслоняли горизонт. Подольскому хотелось знать, что происходит на небе, но он видел только кусты, кусты и огромную ель впереди, у переплетенных корневищ которой кочевые цыгане разводили костер и разбивали палатки. Здесь они чинили сбрую, повозки и говорили на своем наречии, а угрюмая ель вслушивалась в их толки. Минуя пепелище, Подольский увидел цветную тряпку в траве да обгорелую оглоблю – вот и все, что осталось от их пристанища. Мальчиком Подольский любил убегать к цыганам, хотя мать говорила, чтобы он держался от них подальше, потому что они способны наводить на людей обморочную порчу: люди от этого становятся беспечными и готовы отдать не только деньги, но и последнюю нательную рубаху.

Быстро и зловеще темнело. Разорванное облако, провозвестник грозы, меняя очертания, пронеслось над головой, и сзади стало так же темно, как впереди. Но под ногами твердо стукала кремнистая тропа, и Подольский шел быстро, уверенно, в каком-то бодром возбуждении. Он шел навстречу грозе, отдаленно рыкающей, как разбуженный зверь, он вызывал стихию на единоборство, он ждал той минуты, когда в грудь ударит тугой сгусток ветра и согбенные березки испуганно залепечут покорной листвой, он безумно и радостно ускорял шаги. «Успею до грозы в этот сарай!» – подумал он в ребяческом азарте и улыбнулся. Он любил этот сарай, как и свои шалаши в лесу. Там хорошо и свободно думалось. В сарае, прислоненная к стене, стояла, ощетинясь зубьями, заржавленная борона. Больше в нем ничего примечательного не было. Одна доска оторвалась, и в щель просматривалась дорога, убегающая за поворот. На стене было написано черным грифелем: «Вовка Кудеяров – Фантомас!» Новолазаревские и бусыгинские мальчишки часто съезжались сюда на велосипедах покурить без присмотра и поговорить о жизни. «Они меня и обнаружат», – подумал Подольский.

На разгоряченный лоб упала капля дождя. Легкий шелест пробежал по кустам, словно в них ожили и задвигались, волоча длинные шлейфы, таинственные духи тьмы. «Не успеть!» – подумал Подольский, раздражительная торопливость овладела им. Он побежал. Хотелось бежать, бежать, бежать и прибежать куда-нибудь на Командорские острова, зайти по горло в воду и увидеть дельфина: говорят, у дельфинов есть какая-то цивилизация, с ними можно поиграть и подружиться. «Надо бы спросить, нет ли у кого в поселке бросовых щенков», – подумал Подольский на бегу: он все-таки еще хотел жить и подыскивал запасные варианты. Он бежал, ощущая душевный подъем. Казалось, что, вырвавшись из сумрачного сторожевого оцепенения кустов к сараю, он преодолеет сопротивление своей косной оболочки. Тело, хотя и послушное каждому движению души, мешало, сковывало. Мешал топорик за поясом; Подольский, остановившись на бегу, вынул его; теперь бездеятельная праздная рука могла с силой сжимать холодное отполированное топорище. Упало наземь с шорохом еще несколько капель дождя. И вот все затихло. Потом впереди послышался нарастающий ропот, словно дальний отзвук снежного обвала, и в лицо ударила лавина встречного ветра. Подольский вырвался из кустов – и остановился; гулко бухало сердце. Он оглянулся, потому что показалось, что кусты его догоняют, простирая жадные ветви. Кусты отшатнулись и застыли на месте. «Псих», – подумал он про себя и побежал к темневшему слева сараю, но запнулся и упал. Грубый толчок земли неприятно отрезвил его, земля под телом покачнулась и поплыла; ему захотелось остаться лежать здесь, дожидаясь ливня. Топор тупо прозвенел в стороне, и пока Подольский разыскивал его, ощупывая траву, его не покидало ощущение, что нужно торопиться.

Когда он подбегал к сараю, сверкнула молния, короткая, призрачная, ослепительная, озарив зловеще искаженную местность, сорванные с петель двери, прислоненные к стене. Молнийный свет скользнул, как стальной клинок, в черную глубину сарая, рассыпался и исчез в щелях. Тотчас оглушительно треснуло, и могучие жернова загрохотали вверху. Подольскому захотелось рассмеяться, как от щекотки. На секунду ослепнув и оглохнув, он ощупью пробрался в сарай и прижался к шершавым доскам. Чудные восходящие токи омывали тело, соединяя его со стихийной природой.

Где-то здесь, – Подольский помнил об этом, – должен был валяться чурбан. Он отыскал его впотьмах и приставил к стене. Затем взобрался на него и принялся вбивать гвоздь. Удары по железу звучали странно, глухо, вязли в воздухе. Подольский приготовил петлю и привязал веревку к гвоздю; потом потянул за веревку и убедился, что гвоздь выдержит. В мозгу вертелись чьи-то стихи:

Я пошел и удавился.
Кончил эту селяви,
И никто не удивился,
Ни чужие, ни свои.

Мысли в голову приходили заемные, дурашливые. Он вдруг почему-то вспомнил древнеиндийское изречение: «Слава тебе, Бедность! Благодаря тебе я стал волшебником. Ведь я вижу всех, а меня никто не замечает». «Не смогу я удавиться, – подумал он. – Но попробую». Он накинул петлю на шею; веревка была колючая. «Ну что, теперь надо оттолкнуть чурбан – и дело с концом», – подумал он.

Дождь усилился и перешел в ливень, то и дело сверкали молнии, ближний лес приглушенно шумел и водянисто булькал, пахло сырой и бодрой свежестью. Хотелось жить, хотелось бушевать, как этот восхитительный ливень. С петлей на шее, зачарованный, Подольский смотрел и смотрел, как низвергаются потоки дождя.

Неожиданно по тропе сквозь равномерные звуки дождя послышалось постороннее хлюпанье: кто-то, застигнутый грозой, бежал, оскальзываясь в грязи и впопыхах разбрызгивая лужи. Подольский снял петлю, спрыгнул с чурбана и выглянул, но было так темно, что ничего не увидел. Он прижался к дверному косяку и принял непринужденную позу, чтобы показать, что он здесь спасается от дождя, что он залюбовался грозой, как мальчишка фокусническими трюками. Он стоял в проеме, чтобы его сразу можно было заметить. Сердце учащенно билось.

Из темноты вынырнула молодая женщина и устремилась навстречу ему, под спасительную крышу. Мокрые волосы облепляли ее плечи и открытую шею.

– Сюда! Сюда! – подбадривающе сказал он и рассмеялся. – Что, каково!?

– Ох! – только и смогла вымолвить незнакомка, движением тонких рук убирая налипшие волосы со лба.

Дождь припустил еще сильнее, однако небо просветлело. Насыщенный влагой лес блаженствовал, а воздух, напоенный озоном, стал необыкновенно желанен.

– Я сперва под елкой стояла, потом вспомнила, что тут сарай есть. И в самый-то дождь попала! Ну и дождище! – сказала незнакомка.

– Скоро кончится, – сказал Подольский, чтобы поддержать разговор.

Говорить было не о чем. Женщина была очень милая, с чистым умытым простым лицом; она все подымала острые локти и без конца поправляла волосы. Подольский чувствовал раздражение. С женщинами ему не везло. Он не умел ухаживать за теми, кто ему нравился; вместо порожних ритуальных слов всегда хотелось взять женщину пониже пояса и долго молча целовать в губы, в шею и в грудь. Вот и сейчас он подавил это желание и почувствовал себя очень несчастным и одиноким. «Сейчас я с ней разругаюсь в пух и прах», – в тоскливом бешенстве подумал он.

– Вы в Новолазаревку?

– Да, – буркнул он сердито.

Незнакомка взглянула на него внимательно и удивленно.

– А интересно, – сказала она, – что вы здесь делаете?

– Да вам-то что за дело? – ответил Подольский совсем уже грубо. – Повеситься хотел, да вы помешали.

В его голосе послышались слезы и ярость; он и сам не ожидал, что вложит в эти слова столько тоскливой боли.

– Вы это серьезно? – шепотом спросила незнакомка. Он промолчал отвернувшись. – Э-э, не шутите так. Дайте-ка мне вашу руку. – Незнакомка взяла его негнущуюся руку, и Подольский почувствовал мокрое тепло ее ладони и тихое умиротворение, словно бунтующие волны в его душе прорвали заградительную дамбу и улеглись, усмирились в этом простом, слабом пожатии. – Да вам, кажется, не очень везет…

Это было уже лишнее: везет ему или не везет – не ее дело; не хватало еще, чтобы его жалели бабы.

– Я вас что-то не встречал раньше… – резко сказал Подольский, обрывая чувствительную тему.

– Мы возле деревни работаем, курган раскапываем – слышали?

– Слышал. Даже ходил смотреть, Нашли что-нибудь?

– Пока ничего интересного. Но не в этом дело! Вы… Как вас зовут?

– Семен.

Подольский ответил неохотно: незнакомка оказалась излишне любопытной и явно лезла в душу; от этих ее неловких болезненных прикосновений Подольский потихоньку терял сдержанность и заводился.

– Семен, вы что-то скрываете от меня? Что случилось, Семен? Что произошло? Откуда такие желания? Вы в своем уме? Ну-ка живо выкладывайте, что стряслось?!

– Знаете что! А идите-ка вы… куда подальше! – рассвирепел Подольский. Он был сложный человек: страдалец и гордец, он пуще всего боялся, как бы его страсти, его мысли и побуждения не низвели до простых, легко объяснимых, доступных всем людям, как бы не подорвалась вера в его собственную исключительность; без этого сатанинского самолюбия ему нечем было бы жить.

– Как хотите, – обиделась незнакомка. – Только я никуда не пойду. Вместе пойдем: нам ведь по пути. Но вообще вы испорченное дитя, Семен, испорченное самолюбивое дитя.

Посмотрите, какая благодать вокруг! Стоит ли переживать, держать такие мысли в голове? Вы считаете, что уже во всем разуверились? Крупно не повезло? Ну, не отнимайте у меня руки! Смотрите, какие испарения поднимаются! Как легко дышится! Да надо быть круглым дураком, простите меня, чтобы думать об этом. Вас что, не любил никто? Сколько вам лет? И вы думаете, что в тридцать пять лет все потеряно? Жизнь прекрасна и бесцельна – дыши и живи. Вы о броуновском движении ничего не знаете? А случалось наблюдать, как движется комнатная пыль в солнечных лучах? Кажется, пылинка вот-вот сядет на пол, а воздух ее снизу подхватывает, и она летит к потолку. Так они и толкутся, эти пылинки: одна падает, другая взлетает. Это и есть броуновское движение. Лучшего определения жизни я не знаю. Не отчаивайтесь, Семен, все наладится…

– Хватит об этом, – сказал Подольский, ему было грустно. – Дождь кончился. Я пойду.

– Вы все делаете в одиночку? – спросила незнакомка, догоняя его. – Вы даже не интересуетесь, как меня зовут? Меня зовут Вера. Я обижена на вас: вы такой грубый, неласковый, хмурый. Я ведь все равно не отстану от вас, вы можете грубить мне сколько угодно.

– Я груб потому, что… Потому что встреча с вами – лишнее доказательство моего поражения. Нашего поражения.

– Почему?

– Потому что… – Подольский вдруг остановился с сильно забившимся сердцем; сердце билось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. – Подойдите сюда, – приказал он слабым голосом. Он задыхался. – Ближе, не бойтесь. – Вера подошла, остановилась на расстоянии шага и при этом взглянула на него как-то испуганно, робко, умоляюще. Их разделял только один шаг. Подольский смотрел на нее пристально, но куда-то мимо. Губы его кривились в странной усмешке. – Ближе, – прошептал он. Вера не двигалась, и тогда он сам шагнул к ней, неуклюже обнял и нагнулся. Вера оттолкнула его и выскользнула из рук. – Вот почему! Вот почему! Вот почему, черт меня побери совсем! – закричал Подольский яростно и расхохотался на весь лес. – Потому что – слова, пустые слова, и ничего больше. Игра! И кто кого переиграет! А мне хочется вас целовать, целовать, целовать! Вот почему я всегда проигрываю. Вот почему я груб! Мне надоели эти условности, жмурки, воловье терпение, к которому я всякий раз должен прибегать, чтобы хоть чего-нибудь добиться. Мне это все надоело. Не могу больше терпеть. Меня унижает это ваше церемониальное броуновское движение, эти бессмысленная толкучка одинаковых пылинок. Да уж лучше быть комом грязи, чем ничтожной пылинкой, пусть даже и в лучах солнца. Что вы от меня удрали за версту? Съем я вас, что ли? На что мне надеяться, если я ком грязи и мне полагается быть всегда на полу, а вы – пылинки, способные вознестись? Что, вы думаете, мне нравится быть хмурым, ожесточенным? Я, может, только в лесу и спасаюсь от вашей благоустроенности. Потому что всякий раз, когда я хочу вас целовать, вас и вам подобных, вы предлагаете мне шиш. Я тридцать пять лет брожу по свету и ни разу – вы слышите? – ни разу не встретил человека, который бы глубоко заинтересовал меня. Да при таком раскладе не только впору удавиться – слезами изойти можно. Все вот так же, как вы, упираются ручонками в грудь и смотрят на меня, словно я убивец какой! Не с кем мне потягаться, черт меня побери, некому подать руку. Все разуверились в своей значимости, в своей крупности, в своей гениальности; обтекаемые медузы, предпочитают ловчить. Не жизнь им нравится, а игра с нею, не человек, а что поиметь с него. Хожу один как мастодонт. Чего вы испугались, скажите мне? Ну, чего?

– Ну, нельзя же так сразу, – сказала Вера виновато, заискивающе. – Я вас боюсь. Такое ощущение, что вы в первый раз в жизни увидели живую женщину. Я ведь вас совсем не знаю. Вы все с какой-то аффектацией делаете, торопитесь… Знаете что, приходите завтра к нам в лагерь, я вас с ребятами познакомлю.

– Мне надо вернуться – я топор оставил, – сказал Подольский.

– Я вас подожду здесь, – сказала Вера.

– Ступайте. Я догоню вас.

Подольский повернулся и пошел по раскисшей дороге. В воздухе была разлита сырость.

В сарае теперь было светлее. Подольский воткнул топор в стену, потом застегнул все пуговицы на куртке, разгладил воротник, откинул волосы со лба; захотелось переодеться во все сухое и чистое. Он встал на чурбан, накинул петлю на шею, еще раз тщательно поправил одежду и опрокинул чурбан.

©, ИВИН А.Н., автор, 1975, 2010 г.
Алексей ИВИН

В начале поприща

Дождь кончился. Выглянуло солнце, заблестела мокрая трава. Ветер утих, и в наступившей тишине из лесу был слышен только шелест срывающихся капель.

Валентина Дмитриевна, молодая учительница, едущая по распределению, подхватила свой черный плоский чемодан и вышла из-под разлапистой ели, где пережидала дождь. Лягушка, испугавшись ее, скакнула в сторону и шлепнулась в траву. Тропинка ослизла, идти стало трудно, и Валентина Дмитриевна пожалела, что отправилась в туфлях.

Получив назначение на работу в поселок Бусыгино, она думала, что найдет в кочергинском роно директора местной школы, но ее там не оказалось, и она вынуждена была добираться одна. А от Кочерыгина до поселка было не близко – пятнадцать километров. Хорошо еще, что ее немного подвезли на попутном лесовозе.

Вскоре лес отступил, потянулось огороженное льняное поле; в конце его по кудрявой зелени лозняка угадывалась речка, впадавшая в Логатовку, а дальше виднелись просторно разбросанные избы поселка. Пройдя по бревенчатому настилу моста, Валентина Дмитриевна спросила встречного мальчишку, где дом директора школы.

– А вон тот, желтый, у столба, – объяснил он; в его глазах при этом было живейшее нескрываемое любопытство.

На крыльце промтоварного магазина стояли бабы.

– Не иначе – новая учительница к нам, – сказала одна из них, в цветастом платке.

– А может, к Федоровым гости, – вмешалась другая.

– Не, Федорову девку я знаю: она повыше ростом и толще. А эта новенькая, точно.

– Не климатит у нас учителям – каждый год новые. Вот и эта, может, год проработает, а потом как ветром сдунет.

Валентина Дмитриевна прошла по мосткам вдоль некрашеного забора. Овцы бродили возле свежего сруба, обнюхивая щепки; рядом со срубом лежал маленький штабель окоренных бревен: видно, строили баню. Деловито пробежала собака. Прорычал груженый лесовоз, лесины скрипели, их обрубленные куцые вершины тяжело раскачивались.

В палисаднике директорского дома росла черемуха и несколько рябин; кисти оранжевых, еще не спелых ягод свисали с ветвей. «Ох, замерзну я здесь!» – подумала Валентина Дмитриевна, вспомнив народную примету: рябины много – зима будет лютая. Оставив чемодан в сенях, она постучала в косяк; дверь была обита войлоком и обтянута дерматином. Очутившись в тесном коридорчике, заставленном обувью и увешанном одеждой, она на миг растерялась, но тут из кухни вышла молодая полная румяная женщина (такие подносят хлеб-соль на торжествах), вытерла руки о передник и вопросительно улыбнулась.

– Здравствуйте! Здесь живет директор школы?

– Да, это я.

– Я направлена в вашу школу на работу…

– А, здравствуйте, здравствуйте! Проходите, пожалуйста, проходите. Я должна извиниться, что не встретила вас. Третий день ребенок болеет, нельзя шагу отойти. Значит, вы к нам на работу? А специальность? История и английский язык? Ну, хорошо. Давайте знакомиться: меня зовут Светлана Григорьевна. Я здесь уже седьмой год. Признаться, я думала, что дадут мужчину. У нас ведь коллектив женский, строгий мужчина был бы кстати: дети теперь, особенно в старших классах, народ бедовый. Ну, ничего. Освоитесь. Располагайтесь пока у меня, а завтра найдем место. Муж на работе, я одна хозяйничаю. Садитесь. Я сейчас приготовлю чего-нибудь поесть: вы устали с дороги…

Пока она нарезала помидоры для салата, кипятила чайник и ходила в кладовку за вареньем, Валентина Дмитриевна огляделась. Печь, посудный шкаф, хлебница, кофеварка, бак с водой, разбросанные на столе ложки и вилки, кипятильник на стене, дуршлаг, множество банок с молоком и простоквашей, умывальник в углу, – все это, собранное в тесной кухне, создавало ощущение беспорядка. Рядом с кухней была спальня, оттуда виднелся угол детской кровати.

Пока Валентина Дмитриевна ела, директор вводила ее в курс школьных дел. Школа была небольшая, восьмилетняя, всего шестьдесят учеников, по десять-двенадцать человек в классе. Для ребят из соседних деревень были построены интернат и столовая. Работать нетрудно, если не показывать ребятам слабину; методических пособий достаточно, ими забит целый шкаф в учительской. Вечером – клуб, телевизор, есть школьный спортивный зал. Перечисляя все это, директор понимала, что лишь маскирует скудость имеющихся в ее распоряжении притягательных средств. В последние годы она стала жалеть этих молоденьких выпускниц. Привыкшие к городской жизни, они, приезжая сюда, вскоре разочаровывались: она видела это по чуть оглушенному голубиному взгляду, по тому, как кротко они кивали в ответ на ее утешительные слова. «Убежит!» – думала она и почти никогда не ошибалась. Она не осуждала их, помня, как в первый год сама порывалась уехать, но посватался хороший парень, шофер Генка Соколов, и она осталась. Вышла замуж, родила ребенка, обставила квартиру. И ничего, живет.

Вечером, укладываясь спать, Валентина Дмитриевна думала, что все в ее жизни должно устроиться, только бы начать работать. Она вспомнила и вновь пережила то легкое, счастливое настроение, с которым, еще студенткой, возвращалась из логатовской школы, где проходила месячную педагогическую практику. Зачарованные глаза учеников, полуоткрытые рты, внимательные уши. Она чувствовала тогда, что увлекает детей, это окрыляло ее, она увлекалась сама, любовалась своей силой и властью. А на переменах они толпились вокруг нее, заглядывали в глаза, спрашивали…

Полюбят ли ее и здесь?

Следующий день выдался дождливый. То и дело набегали лиловые тучи, лил дождь, несколько минут сияло омытое солнце и, зажигая радугу, снова пряталось в облаках.

Валентина Дмитриевна с утра ушла смотреть свою новую квартиру, занимавшую половину финского дома. Увидев две голые комнаты, белую некрашеную печь с плитой, она невесело рассмеялась и энергично принялась за дело. Со склада принесли кухонный шкаф, две тумбочки, несколько новых стульев, полированный стол с выдвижными ящиками. Матрас, подушка, одеяло и две простыни были принесены из интерната. Валентина Дмитриевна заправила постель конвертом. Беспорядочно заставленная мебелью, комнаты имели нежилой вид; Валентина Дмитриевна без конца, с азартом переставляла, передвигала, но все ей не нравилось.

Здесь – ночной столик. Нет, здесь! Кровать – сюда. Отлично! Полка для книг. Зеркало… Господи, у меня нет зеркала! Запишу в реестр: срочно раздобыть. Хороша я буду, если растрепой явлюсь к детям! Вешалка есть, таз есть. Утюг… надо купить утюг. Еще что? Занавески на окна. Две тарелки, ложки, кастрюлю, электроплитку, веник – и все это нужно до зарезу.

Составив длинный список предметов первой необходимости, она направилась в магазин. Там оказалось почти все, что было нужно, но она еще раз придирчиво просмотрела список и вычеркнула то, что можно было купить потом, с первой получки. И все равно расходы оказались велики.

Вернувшись из магазина, она вымыла пол и окна, а потом занялась печью. В жизни ей редко приходилось затоплять печь. Но она знала, что сначала нужно нащепать лучины или надрать бересты. Дрова были рядом: поленница стояла в огороде. Она принесла охапку поленьев, попутно заметив, что огород запущен, грядки буйно заросли крапивой и лебедой. Лучина долго не загоралась, чадила и гасла, а когда, наконец, потрескивая, разгорелась, Валентина Дмитриевна поспешно сунула ее в печь, забросала сверху дровами, и в комнате стало дымно. «Ах, боже мой! – догадалась она. – У меня ведь не открыта труба!» Труба закрывалась вьюшкой; вынимая ее, Валентина Дмитриевна перепачкалась в жирной саже. Зато в печи весело затрещал огонь.

Возбуждение, вызванное сознанием того, что у нее теперь своя квартира, понемногу улеглось, сменилось грустью. Как-никак придется носить воду, вставать затемно и топить печь, а зимой так сладко спится… Но что делать: ее учительский долг. Назвался груздем, полезай в кузов. Без прежнего энтузиазма, зато хладнокровнее она принялась распаковывать чемодан, а покончив с этим, почувствовала усталость. «Хватит на сегодня, – решила она. – И все-таки чего-то я не сделала, чего-то не хватает… Может, купить радиоприемник? Нет, не то, не то!»

Вечером, едва стемнело, она пошла к Светлане Григорьевне и за чаем пожаловалась ей, что неожиданно затосковала.

– Ничего, это пройдет. Только не надо ни о чем мечтать и ни о чем думать. Вы можете пока ночевать у нас. Вы нас нисколько не стесните, правда, Гена?

Гена, высокий, с двумя крупными родинками на правой щеке, конфузливо кивнул:

– Конечно, о чем речь!..

– Нет, я уж лучше заночую дома. Все равно ведь привыкать-то надо.

– Ну, как хотите. Мы дадим вам транзистор – напрокат, на неделю, пока привыкнете. Или – знаете что?! – Светлана Григорьевна стукнула себя ладошкой по лбу. – У нас недавно окотилась кошка. Трое. А выбрасывать жалко. Сейчас я их вам покажу. – Она вынесла из спальни двух пепельно-серых котят. – Вот, смотрите. Даром отдам. Берите: все-таки живое существо. Нескучно будет.

Валентина Дмитриевна взяла одного из них за мягкий загривок; котенок беспомощно висел, растопырив лапки, и слабо разевал голый розовый ротик.

– Беру, – сказала она.

– Одного?

– Одного. Спасибо.

– Не за что. У нас этого добра каждый год бывает ой-ой-ой! Вот, возьмите баночку молока, напоите его. Вы и для себя, если хотите, можете брать молоко. Здесь многие продают – тридцать копеек литр. А картошку можно купить у Николая Николаевича; я уже говорила с ним на этот счет. Он сказал, мол, пускай приходит. Он живет как раз напротив школы.

Они простились на крыльце.

– Если что, – сказала Светлана Григорьевна, – заходите, не стесняйтесь. А завтра вам нужно с утра быть в школе. Работы у нас очень много: надо подклеить карты, оформить наглядные пособия, отобрать необходимые диафильмы. Фломастеры у вас есть? Нет? Я дам свои. Придется рисовать. Рисовать-то умеете? У нас тоже никто не умеет – так, мазюкаем. Ну, до свидания. Спокойного вам сна. И помните мой совет: не раскисайте…

Августовская ночь была непроглядно темна и влажна; в кронах невидимых деревьев шумел верховой ветер. С транзистором, молоком и котенком Валентина Дмитриевна возвратилась домой. Там, пустив котенка гулять по полу, она села писать письмо матери.

«Милая мамочка! – писала она. – За меня не беспокойся. Я благополучно прибыла на место и уже получила квартиру. Я думала, что как только обоснуюсь, то до начала занятий приеду к тебе. Но оказалось, что нельзя. Пришли мне, пожалуйста, посылку: мои зимние сапоги и чего-нибудь сладенького…»

Две недели прошли незаметно. Наступило тридцать первое августа. За это время Валентина Дмитриевна привыкла к новой жизни. Тоска, подступавшая в первые дни от того, что все было непривычно и неустроенно, теперь исчезла. Валентина Дмитриевна просыпалась в семь часов утра, топила печь и готовила завтрак; обедала в полдень, ужинала в семь часов вечера, а в десять уже ложилась спать.

В этот день она проснулась с чувством перемены и поняла: завтра занятия! Наскоро позавтракав, она обложилась методическими пособиями, чтобы готовить свой первый урок истории в седьмом классе. Все казалось просто: минута за минутой, от начала урока до его конца, она знала назубок все, что станет говорить, но все равно боялась запутаться, сбиться с мысли. Она помнила, как встретили ее в городской школе; на нагловато-простодушных

рожицах нарушителей дисциплины было написано: дескать, посмотрим, на что ты способна. Они подзуживали ее, изводили, но она уже тогда поняла, что поддаваться гневу – бесполезно, жаловаться директору – бессмысленно. Она скрепилась; лишь иногда она позволяла себе вышучивать озорников: класс хохотал, моральная победа была на ее стороне. Но кто знает, как примут ее здесь…

Утомившись от долгого сидения, усталая, уже не веря, что урок пройдет благополучно, она вышла из дому и по деревянной лестнице, держась за жердочки перил, спустилась к реке. День был ясный и холодный, предосенний. На берегу было очень тихо. Беззвучные струи чуть рябили поверхность воды, и было видно, как по песчаному дну лениво переползают пескари.

Она направилась по тропе вдоль берега, вошла в лес. В прозрачном воздухе теплился запах увядания; без борьбы, без ропота, безмятежно увядала природа и усмиряла тревожные мысли.

Из лесу она вернулась с десятком рыжиков, нанизанных на ветку. Она засолила их в полулитровой банке; потом разогрела термобигуди и завилась. Она удивлялась своему размягченному спокойствию.

То ли потому, что накануне она переутомилась, то ли еще почему, проснулась она позже обычного – в восемь часов. Сняла бигуди. Расчесала завитушки волос, примостившись возле настольного зеркальца. В черной японской блузке с простым рисунком роз, в тщательно отглаженной юбке, она была красива. В институте ее прозвали Мальчик из Неаполя. Коротко стриженая, смуглая, с полными губами, она и впрямь была похожа на уличного неаполитанского мальчишку.

Топить печь и готовить завтрак было уже некогда. Она выпила, расколупав, сырое яйцо и стакан холодного, устойного молока, съела сочный помидор, оделась и вышла…

После школьной линейки все учителя собрались в учительской. Посреди длинного стола стоял звонок. Оживленно беседовали и поглядывали на часы: ждали начала урока.

– Ну, как самочувствие? – спросила Светлана Григорьевна.

– Ничего, – ответила она. – Я готова.

На пороге появился мальчик из шестого класса, отличник с оттопыренными ушами: он должен был подать первый звонок.

И вот он прозвенел, этот звонок. Все потянулись к дверям.

Валентина Дмитриевна чуть задержалась у входа в свой седьмой класс, нарочито хладнокровно огляделась, чтобы успокоиться, – и переступила порог. Класс встал. Она прошла к столу, выждала, пока уляжется шум, и сказала негромко и просто:

– Здравствуйте, ребята! Садитесь. Я ваша новая учительница. Зовут меня Валентина Дмитриевна…

©, ИВИН А.Н., автор, 1976, 2010 г.
Алексей ИВИН

Василий Иванович

I

Василий Иванович перевернул листок перекидного календаря и рядом с датой «23 августа 1971 года» своим красивым круглым почерком написал: «Позвонить Б. С. в трест в 11.00 и поздравить с днем рождения». Об этом он вспомнил еще за неделю и, конечно, завтра не забыл бы позвонить Борису Семеновичу, но чтобы еще раз предвкусить счастье и ощутить легкое волнение, он сделал эту надпись. Борис Семенович, может быть, и не узнает его – все может быть; но потом непременно узнает, они перекинутся любезностями, спросят о здоровье своих жен, а потом уж так разговорятся, что Борис Семенович непременно будет просить Василия Ивановича присутствовать на торжестве. Соберутся гости, именинник будет встречать всех, пожимать руки и провожать к столу. Василий Иванович придет одним из последних, а может, самым последним. Хозяин, несколько утомленный, но сияющий, встретит его радушно, они сядут за стол, а когда шампанское будет откупорено, Василий Иванович при воцарившемся благосклонном молчании гостей произнесет спич и первым расцелуется с именинником…

Василий Иванович так живо представил эту сцену, что не услышал, как машинистка, обращаясь к нему, что-то говорит. Но он уловил ее вопросительный и нетерпеливый взгляд и очнулся.

– Чего тебе? – спросил он строго.

– Василий Иванович, я закончила. Вы разрешите мне идти? – повторила машинистка.

– Так все, значит, сделала? Ну, иди, иди отдыхай. Завтра работы будет много: принесли отчетные данные из треста… Как твой крепыш-то?..

– Да ничего, поправился, вчера уже в яслях был, – ответила машинистка, оделась и вышла.

Василий Иванович допил остывший чай, неспешно надел плащ. Закрыл окно, распахнутое в заросший старый сад, и вышел из кабинета с тем чувством, которое испытывал всякий раз, когда день заканчивался благополучно. Маленькая перспектива завтрашнего свидания с Борисом Семеновичем оживляла думы Василия Ивановича, пока он ехал рядом со своим молчаливо-предупредительным шофером, пока поднимался в лифте, пока переступал порог своей уютной квартиры…

– А, вот и он! – воскликнула Анна Владимировна, супруга Василия Ивановича, когда он вошел в переднюю. – Раздевайся-ка побыстрей да пойдем…

– Что такое? – спросил он оживленно.

– А гость приехал к нам, вот что! – выпалила Анна Владимировна, продолжая тормошить мужа и горя от нетерпения. – Пойдем, пойдем, сейчас увидишь!..

Василий Иванович, готовя приветственные слова и губы для широкой улыбки, последовал за женой. Они вошли в гостиную.

– А, Петр Лукич, здравствуй! Сколько лет, сколько зим! Ну, здравствуй!

Петр Лукич подскочил с дивана, и на середине комнаты друзья обнялись. Анна Владимировна стояла в стороне и, подперев рукой пышный свой бок, умильно улыбалась.

Петр Лукич, очутясь в объятиях Василия Ивановича, расчувствовался и засопел, а Василий Иванович хлопал его по плечу и говорил:

– Ну, брат, полно. Расскажи-ка лучше, как живешь-можешь, как здоровьишко-то твое.

– Хорошо, все хорошо. А ты-то как, Василий Иванович?

– Да я тоже хорошо. Скоро уж и на пенсию пойду: год всего остался.

– Ну? Это хорошо, хорошо… – сказал Петр Лукич. И добавил для убедительности: – Это хорошо.

Анна Владимировна собрала между тем на стол, друзья сели. И полились беседы: вспомнили детство, работу, любовные проделки. Анна Владимировна слушала, качала головой и говорила сама, когда Петр Лукич обращался к ней.

– А вот мой сын Максим, – сказал Василий Иванович с гордостью и опаской, когда в комнату вошел стройный парень лет восемнадцати. Он протянул руку восхищенному Петру Лукичу, но не ответил на его льстивое пожатие, сел, сказал безразличную фразу, налил себе стакан водки, выпил и стал закусывать так естественно и непринужденно, что смутил всех троих. Беседа попримолкла; но Максим на замечал впечатления, которое произвел, а продолжал есть, пока не насытился. Потом, равнодушно извинившись, он поднялся, вышел на балкон и вернулся, неся гитару, затем оделся и исчез.

Но с его уходом ощущение неловкости не пропало, и, чтобы развеять его, Василий Иванович произнес слезливо:

– Хороший сын у меня… Вот только выпивать стал в последнее время. Из университета ушел: я, говорит, в рабочую шкуру хочу влезть. И вот теперь каждую ночь пьяный приходит, а иногда и вовсе не ночует дома. Мы с Анной Владимировной из сил выбились, а доглядеть не можем…

– Да… – задумчиво протянул Петр Лукич и умолк.

– А что, не сходить ли нам к Евстигнею Павловичу? – спросил Василий Иванович. – Он живет недалеко, на набережной. Посидим у него, поговорим по душам… Ты ведь его не видел уже лет десять!

– Сходим, пожалуй! – согласился Петр Лукич.

Анна Владимировна пробовала было протестовать, но в конце концов одела обоих друзей и проводила их до лестницы.

– Долго не задерживайся, слышишь! – приказала она мужу.

– Конечно, ты не беспокойся, – усыпил Василий Иванович ее подозрения.

II

Евстигней Павлович встретил друзей с распростертыми объятиями. С небольшими вариациями повторился тот же мотив встречи и возлияния. И так как вскоре Петр Лукич сделался грузен, хотя еще пробовал разразиться какой-то необыкновенно приятной для компаньонов любезностью, то Евстигней Павлович, прибегнув к красноречию жены своей Екатерины Дмитриевны, уложил утомленного друга в постель, специально для него приготовленную. Василий Иванович наотрез отказался остаться, апеллируя к вышеприведенному распоряжению Анны Владимировны, и разрешил только хозяину проводить себя до лестничной площадки. Чем-то напоминая плюшевого медведя, Василий Иванович спустился вниз, оказался на улице и распахнул грудь ночному благоуханному ветру.

По набережной горели желтые фонари, длинной, исчезающей во тьме цепочкой расставленные по берегу Логатовки, которая, сильно разлившись от недельных дождей, несла свои мутные воды. Очевидно, Василий Иванович решил, что фонарные огни будут надежной путеводной нитью для него, и поэтому старательно придерживался их. И если на пути вырастал столб, Василий Иванович ощупывал его, как гусеница, затем брал назад и левее и тогда благополучно огибал препятствие. И то ли Василий Иванович, словно робкий школьник на уроке военно-строевой подготовки, позабыл, где находится правая сторона, а где – левая, то ли еще по какой причине, но только он вдруг почувствовал, что теряет почву под ногами. Но так как он отличался сильным и волевым характером, то решил все-таки обрести почву, а сего ради занес и вторую ногу – и очутился в воде. Не успел он, цепляясь дрожащей рукой за осклизлые камни, сообразоваться с обстоятельствами и принять директиву, как течение подхватило солидное тело Василия Ивановича и понесло его, переворачивая, как щепку. Горловые спазмы разжались, и слабый, растерянный крик о помощи прозвучал над безмолвной рекой. Черные, пронизывающие глаза смерти холодно глянули в оторопелое, прыгающее лицо Василия Ивановича. Он отчаянно пытался удержаться на поверхности, но намокшая одежда неукротимо влекла вниз; в пустоты мозга, как ледяная глыба, вмерзло оцепенение перед неотвратимой смертью. Еще раз сдавленно и безнадежно отчаянно крикнув, он скрылся в водовороте, чувствуя, как внутрь свинцовым удушающим потоком вливается вода.

Но помутневшим сознанием он успел отметить, как кто-то схватил его за волосы и тащит. Он инстинктивно вцепился в руку спасителя, вынырнул и, ничего не соображая, посмотрел безумным взглядом уже умершего человека.

– Руки! Отпустите руки! – пронзительно закричал девичий голос прямо в ухо. – Да плывите же! Черт! Будьте мужчиной!

Василий Иванович вышел из оцепенения, словно судорога пробежала по телу, и одна мысль: «Жив! Жив!» – заставила его лихорадочно сучить руками и ногами. Он подмял девушку под себя и, отбрыкиваясь, решительно заработал руками. Берег с торчащим из воды ивовым кустом был совсем близко, и Василий Иванович, собрав последние силы и дрожа от напряжения, схватился за ветку и вылез. Он долго лежал, не в силах подняться; вода бежала струйками из носа и рта; потом его тошнило, выворачивая внутренности наизнанку; холодный озноб пробегал по крупному телу Василия Ивановича.

Наконец он с трудом приподнялся на подгибающихся локтях, встал на четвереньки и так еще постоял некоторое время, чувствуя головокружение и тошноту, потом выпрямился и вздрагивающей, разбитой походкой пошел прочь.

Когда Василий Иванович брел по асфальтовой дорожке, проложенной по берегу, его сознание все еще не могло оправиться от недавнего потрясения, и невидящий взор равнодушно скользнул по чьим-то забытым белым туфелькам и плащу, брошенному на скамейке.

©, ИВИН А.Н., автор, 1973, 2010 г.

Вечерняя притча

Поклав глухарей в ягдташ, я направился разыскивать избушку, которую заприметил еще днем, чтобы переночевать там.

На мой стук никто не ответил. В горнице горело электричество, и стоял телевизор. Возле открытой печурки, в которой гудели поленья, сидела благообразная старуха, а с полатей виднелись чьи-то ноги то ли в лаптях, то ли в модернизированных чувяках.

– Здорово, хозяева, – сказал я, отряхивая у порога воду с плащ-палатки.

– Здравствуй, путник! – ответила приветливо старуха. – Присаживайся к камельку.

– Спасибо, не откажусь… Вишь ведь свирепствует непогода: можно подумать, что вся нечисть ополчилась…

– Да, ненастье на дворе, – согласилась старуха. – Даже меня загнало под крышу. Обычно ведь я кочую из дома в дом…

– Странница, что ли? Как зовут-то тебя?

– Совесть.

– Больно чудно назвали.

– Родитель был малость придурковатый, – пояснила старуха.

– А это кто там лежит, на полатях-то?

– Да старик один, Демос. Часто наведываюсь к нему, да он все непроснется никак. Врачи у него болесть какую-то нашли, летаргию. Говорят, в любую минуту может проснуться. Вот и жду.

– А давно он заболел, старик-то этот?

– Давно. Почитай что с Отечественной спит. Телевизор вот ему купило начальство, всё заботится о нем. Ну, иногда вечером слезет с полатей-то да и посмотрит.

– Это как понимать? Спящий-то? Сомнамбула, что ли?

– Да уж так.

– Чудные дела творятся на белом свете, – сказал я, взглянув на полати. – А поесть у тебя не найдется ли чего, хозяюшка?

– Испей брашна – вон в углу, в корчажке стоит. Ситный хлебец да маслице коровье там же найдешь.

– А дети-то у тебя есть? – спросил я насытясь.

– Как же, есть. – ответила старуха. – Только в тюрьме они почти все.

– А что так? Сама-то ты на вид старуха хоть куда, а неужто дети с кистенем бродят?

– Да уж такие христосики уродились.

– Ну, ничего, ты не горюй. Все обернется к лучшему.

– А я и не горюю. Любят они меня, передачки им ношу, а случается, и на свободе привечаю… Ты сам-то откуда идешь?

– Охотился, мать. Глухаря-графомана да глухаря-плагиатора подстрелил.

– Не наши, чай, названья-то, латинские?

– Латинские.

– А не взыскивают за то, что охотишься-то в неурочную пору?

– Не без того: по годику за эскападу и по два – за диффамацию.

– Как это?

– А так: выстрелишь из левого ствола – эскапада, выстрелишь из правого – диффамация. Уж и ружьишко-то мое в детский пугач превратилось. Такая досада!

– Ну и ты не горюй. С лесничим-то не толковал об этом?

– Было дело. Да ведь нельзя ему втолковать-то: ему гонорарий платят за охрану этих птичек.

– Если нельзя, так плюнь на него, да и всё. Ходи себе постреливай.

Дверь распахнулась. Вошли два лесника. Старуха посмотрела на меня тоскливо.

– Ты чего, убогая, расселась? Опять за свое? – закричал толстый лесник на старуху.

Второй надел мне наручники.

– Ну, прощай, мать! – сказал я.

Старик на полатях заворочался, пустил густой храп, но не проснулся.

– Прощай, сынок! Вспоминай меня! А буде случится гостинец принести, свидимся.

– Ружье конфисковать! – сказал толстый лесник. – А вот что с глухарями делать?

– Похороним на Ваганьковском.

Я вышел. Они – следом.

Алексей ИВИН, автор, 1975, 2010 г.
Притча опубликована в журнале «Голос эпохи» и в сборнике «Русское восприятие» (г. Александров, 2006 г.)
Алексей ИВИН

Воскресная прогулка

Борис Осолихин решил бросить курить. Такое принял мужественное решение. Вступил в борьбу с собой.

Не то, чтобы это решение было обдумано заранее, вовсе нет, оно пришло внезапно. Вступив за порог и втянув росистый воздух, он почувствовал, что как будто чего-то не хватает, чтобы дополнить утреннее зрительное наслаждение голубым небом, цветущей акацией, политыми мостовыми и уличным гомоном; ощущение было томительным и требовало удовлетворения, и тогда он понял, что ему хочется закурить. Засунул руку в карман, но вспомнил, что вчера выкурил все сигареты. «Ну и ладно, – подумал он. – Брошу курить». Эта мысль его окрылила, и на обновленный после летней ночи, оживляющийся город он взглянул так же обновленно, спокойно, самоуверенно. «Я тебя породил, я тебя и убью», – подумал он по поводу своей привычки (из классических писателей он любил Гоголя). Таким образом, он принял волевое решение. Более искреннее, чем бесповоротное. Направившись, как обычно, к трамвайной остановке, он придавал лицу и шагу особую значительность, чтобы доказать всем встречным-поперечным, что с сего дня переродился, что не только теперь не курит, но что он, кроме того, удачлив, у него не переводятся деньги, его любят женщины, а может быть, он знаменитый киноактер (это уж кто как определит по его многозначительному лицу). Пантомима несуществующих ценностей продолжалась, пока какой-то багроволицый мужик не столкнулся с Осолихиным: не смог разминуться; мужик равнодушно извинился и прошествовал дальше с таким видом, что было ясно: он не заметил Осолихина. Извинился, но не заметил: о своем, небось, думал, спешил. Это пустяковое событие было как ведро воды, вылитое на торжествующий костер: Осолихин потух. Если бы он был действительно киноактер, его бы не затолкали. Да если бы какой невежа и толкнул, что с того? Он утешился бы сознанием, что он действительно киноактер, что он самый талантливый актер современного кино (это опять-таки смотря по тому, в какие эмпиреи залетел бы он, будучи актером). А Осолихин был неизвестно кто. Студент. Мечтатель. Немного завистник. Маленький человек. Мелкая сошка. Но, однако, человек, и, следовательно, ничто человеческое не было ему чуждо. Он привык соразмерять себя с другими не по тем добродетелям, которыми обладал, а по тем, которых ему не хватало. Поскучнев, побранившись мысленно, он встал на остановке, среди других, похожий на них оторопелой заспанностью, украдчивым взглядом и внутренним сопротивлением к действию. И тут увидел на противоположной стороне улицы торгующий табачный киоск. И стряхнул дрему. Признав свою одинаковость, незначительность, он, глядя на киоск, думал, что все это противоестественно, что вон тот киргиз в тюбетейке курит хоть бы хны, что можно и не покупать сигарет, а посмотреть да и удалиться, и что это, наконец, вовсе не признак слабоволия – полюбопытствовать, чтобы скоротать время. Это последнее соображение убедило его своей простотой, ибо никоим образом не допускало, что он идет, чтобы купить сигарет. Он шагнул через рельсы, перешел улицу и, приблизясь к киоску, стал рассматривать выставленные на витрине разноцветные пачки, хотя достаточно было и беглого взгляда, чтобы убедиться, что ничего новенького нет: все эти сигареты он курил. Когда-то. А теперь он с этим делом завязал. Одно нехорошо: кроме него, возле киоска никого не было, и киоскерша уже выжидала, когда он отсчитает деньги и купит. Следовательно, он должен был купить, оправдав ее ожидания; а с другой стороны, он уже нагляделся, и пора было вернуться. Между тем купить сигарет хотелось. Такое было стремление, такие начались неожиданные испытания воли. Не курил, почитай, уже больше часу, с тех пор как проснулся. Не всякому под силу.

Подошел трамвай. Осолихин сел и в первую минуту ни о чем не думал (в большом концерте его чувств наступил короткий антракт, во время которого он чуток отдохнул, рассеянно оглядывая пассажиров), но затем спросил себя, куда это он и с какой целью едет, уж не к Марьяне ли? А? Похоже, что так оно и есть. Он покаянно вздохнул: поездка к женщине, с которой он решил больше не встречаться, означала, что он опять проявил слабохарактерность. Тем более что простились они вчера не лучшим образом. Разругались в пух и прах.

А началось с того, что Марьяна предложила жениться на ней и не мучить ее больше. Ему вдруг сделалось как-то неуютно, червячок какой-то принялся его томить, как всегда, когда предстояла перемена в привычном образе жизни, как всегда, когда нужно было хлопотать о деле, в благоприятный исход которого он не верил. И он сказал: «Я подумаю». – «Что тут думать! – вскипела Марьяна. – Что думать? Ты взял меня всю, до донышка, тихой сапой, неприметно. Ты доволен, тебя устраивают такие наши отношения, но я-то, я до сих пор не знаю, что мне делать. Я ни то ни се, ни рыба, ни мясо, ни жена, ни наложница, ничего нельзя понять. Ты словно вымогатель. И неужели ты не видишь, что все уже развалилось? Неужели ты думаешь, что так будет продолжаться и дальше? Хватит, надоело! Я думала: ты поймешь, что я не вещь, а человек». – «Чего же ты хочешь?» – спросил он. «Ты знаешь!» – сказала она. «Ну, нельзя же все так сразу. Надо подумать», – продолжал он упорствовать. «Думать не о чем. Иди и не приходи больше никогда. Слышишь? Чтоб я тебя здесь больше не видела!» Он улыбнулся, совсем непроизвольно, на ее ярость. Марьяна, побледнев от гнева, с той вулканической злобой, с какой бросаются на врага, схватила со стола вазу и запустила в него. Такой вот красноречивый жест. Ваза была тяжелая и, понятное дело, разбилась вдребезги. Тут и Осолихин потерял самоконтроль: как-никак, покушение на его жизнь. И вот они сошлись посреди комнаты, столкнулись, как вздыбленные кони, испуганно и с ненавистью глядя друг на друга, она – убеждаясь, что он цел, а он – дрожа и остывая. В самом деле, что с нее взять, с истерички! Не драться же с ней. Он овладел собой, но зато почувствовал приступ такой ненависти, что для него стало ясно, ясно до конца: он уйдет отсюда навсегда! Он круто повернулся, едва не упал и, взбелененный неловкостью, сдерживаясь, чтобы не побежать, – так хотелось мстить! – быстро пошел к двери: прочь, прочь отсюда! Марьяна, чтобы успеть, пока он не ушел, нагрубить, выкрикивала вслед, что он негодяй, размазня, баба, подонок… «Убирайся! Ненавижу! Ненавижу!..» – кричала она.

Шумная произошла сцена, драматическая.

Осолихин, когда шел обратно, даже дергался от злости, в суставах появилась даже какая-то развинченность, как в велосипедной втулке, когда подшипник износился. Ничего не видя, еще и еще раз переживая свою месть, заново, эффектнее придумывая ее, он исколесил не один квартал, пока опамятовался.

«После такого скандала ехать к ней нельзя, – подумал Осолихин. – Но не слишком ли я загрузился запретами? Курить нельзя, ехать нельзя! Так и неврастеником недолго стать, черт меня побери совсем!» Он вздохнул: кажется, он и в самом деле слюнтяй.

Трамвай остановился, входили и выходили люди, а Осолихин, путаясь в обрывках мыслей, тщетно придумывал, куда бы податься, раз уж решил не ездить к Марьяне. В парк? В кино? Нет, все не то. Наконец решил, что все равно: погуляет, посмотрит, куда это он заехал. Он направился мимо веселых многоэтажных домов; на одном из балконов по натянутым бечевкам карабкался цветущий хмель. Осолихина раздражало, что бредет он без всякой цели: любил придавать всякому своему поступку целесообразность. И вот тут-то он

опять увидел табачный киоск, перестал мучиться неопределенностью своего пути и прямиком направился к нему, целеустремленно, беспечно. Навстречу шли две молодые женщины с колясками, и показать, что он беспечен, деловит (одно с другим совмещалось), что курил, курит и будет курить и ничуть от этого не страдает, – показать, что это так, он мог лишь им. Он купил пачку «Столичных». Женщины это видели и, следовательно, убедились в справедливости всего, что он им показывал. Однако, проявив слабость, он ощутил пустоту, покорную вялость и тоску. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, – попытался он утешиться веселой присказкой. – Ничего! Одну сигарету выкурю, больше не буду, только попробую, может, даже и не стану курить, во рту подержу, да и все». Он распечатал пачку, вынул сигарету, соблазнительно изящную, и раздраженно подумал: «Ах, боже мой, что за глупые принципы, как все это гадко! Возьму да и выкурю всю пачку, а завтра еще куплю, и вообще: буду курить всю жизнь – и плевать на все с высокой колокольни!» И закурил. Но тотчас же бросил. И сигарету, и всю пачку. «Дрянь! Вонь! Вонючее дерьмо! Какое, к черту, я находил в этом наслаждение?» Сотню метров он прошел, чрезвычайно собою довольный, гордый. Но потом ему вдруг захотелось поднять пачку, так что он уже даже повернулся, чтобы осуществить задуманное, но увидел неподалеку школьниц, щебечущую стайку длинноногих акселераток, и остановился: «Из-за чего мучаюсь?! Из-за чего! Что мне в этом? Что вообще и мне и всем в том, курю я или нет? Да почему же обязательно надо, чтоб не курил? Усовершенствоваться хочу? Зачем? От подавленных инстинктов знаешь что бывает? Рак и инфаркт! И психоз. Понять надо самого себя, успокоиться, а не взнуздывать, тогда и станешь совершенен, как сам Господь Бог». Он подождал, пока школьницы пройдут, но сигареты не поднял: как знать, не наблюдает ли кто за ним из окон. Другое дело, что сорить на улицах неприлично, надо бы поднять все-таки пачку-то. Так-то оно так, да не так. И денег тоже жаль. Он медленно направился вслед за школьницами. «Что это такое с тобой творится, братец мой? – вопрошал он себя. – В чем причина внутренней расхлябанности твоей и неразберихи? В лени? В неспособности увлечься чем-либо? То есть как это в неспособности? А позавчера-то? Сел перевести отрывок из „Юманите“, да так увлекся, что просидел три часа и даже ни разу не закурил: забыл. Надо еще одну статью оттуда перевести, это следовало сделать еще вчера – поленился. Нет, надо взять себя в руки, в ежовые рукавицы. Распустился совсем! Уважать себя стану, если переведу. Решено: займусь делом; праздность – мать всех пороков; переведу статью, брошу курить и не поеду к Марьяне. Выход в том, чтобы не оставалось ни одной минуты свободного времени на всякие такие глупости».

Он повеселел, нашел остановку трамвая, на котором ехал сюда, и, пока возвращался, хоть и передумал о многом, старался не разубеждать себя в правильности только что принятого решения. Был уверен, что как только засядет за перевод, который предстояло на днях показать преподавателю, так сразу обо всем и забудет: такое с ним случалось уже не раз, и он даже гордился этой своей усидчивостью, ибо выходило, что он не только не лентяй, а напротив – труженик. Выйдя возле дома, он хладнокровно взглянул на табачный киоск, словно хотел его уничтожить своим моральным триумфом, как покоренного врага, но киоск оказался закрытым; киоску было глубоко наплевать на то, что Осолихин его победил, он объективно закрылся на обед. А с каким торжеством Осолихин прошел бы мимо, если бы он торговал! Встречные прохожие курили папироски и тоже ничего не ведали о его победе; равнодушие было полнейшее. Домой Осолихин вернулся увядший, брюзгливый; раздраженно бросил на стол толстый словарь и газету, но приниматься за перевод не стал: налил холодного кофе, посмотрел в окно, потрогал вчерашние окурки в пепельнице – потом решительно выбрал самый длинный. «Мучаюсь с утра, как грешник, волю испытываю, сукин сын. А ведь ясно, как день, что слабак, только признаться не хочешь», – издевательски подумал он. Стало

легче; он пошел на кухню за спичками. Но там их не оказалось. Их не было нигде: ни в карманах, ни в пепельнице, ни на полу возле газовой плиты; все спички, которые он находил, были горелые. Им овладело холодное бешенство; с окурком во рту он метался по комнате, выворачивая карманы, заглядывая в мусорницу, под кровать, в надежде найти хоть какой-нибудь обломок, хоть полспички. Нет, нигде ничего… Он остановился посреди комнаты, спутанной мыслью вопрошая себя, где же их можно раздобыть. И тут его осенило: вышел на лестничную площадку и позвонил соседям, посасывая окурок в сластолюбивом нетерпении. Не открывали целую вечность, он постучал, потом толкнул дверь: она была заперта. Он бросился к другой двери, но и та оказалась заперта. Он выругался. Все это становилось похоже на преднамеренное издевательство. Пришлось спуститься этажом ниже. Миловидная молодая женщина, которая, он знал, работала инженером на молочном заводе, дала целую коробку. Он отказывался, но она сказала: «Нет, нет, возьмите!» Он поблагодарил и, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся к себе. Там закурил и бросился в кресло. Это была счастливая минута: он наслаждался, смаковал, упивался волшебным дымом, ничуть не осуждая себя, купаясь в грехопадении и радуясь ему. «Ерунда! – подумал он. – Это только бытовая наркомания, это еще не самый страшный грех. А что пишут ученые мужи, так им за это деньги платят; предлагать идею-то мы все мастаки». Накурившись, удовлетворенный, он выбросил все окурки из пепельницы в урну. Пустяки! Он вовсе не изменил своему первоначальному решению, потому что ведь не купил же сигарет и, стало быть, теперь наверняка продержится до вечера, а завтра организм привыкнет обходиться без никотина. Казалось, чтобы сесть за перевод, необходимо было только покурить; но, и покурив, он не садился – медлил. Все равно чего-то как будто не хватало, чтобы он мог спокойно работать. Чего же еще хочется, чего? Он садился, вставал, неприкаянно слонялся по комнате и наконец поймал себя на желании вытащить из урны только что брошенные туда окурки. «Черт знает что! – выбранился он. – Какое-то наваждение. Пойти прогуляться, авось дурь-то выйдет». Он запер дверь и вышел на улицу. «Куда это ты навострил лыжи-то, братец? – с издевкой спросил он себя. – К ней, к ней! К кому же еще! Недаром ведь вчера клялся-божился, что ноги твоей там не будет. Слово-то у тебя с делом не расходится. Железное самообладание. Сталь, алмаз, корунд! Иди, иди, братец, иди. Обрадуется! Спесью-то надуется, учить начнет, выговаривать… Да сигарет-то не забудь купить!»

Сигареты он купил возле станции метро; без наслаждения тут же выкурил одну, выпил газировки. Теперь он чувствовал себя зауряднейшим из людей. Воскресенье считай что прошло, завтра в институт, а он ничего душеполезного так и не сделал. Видно, одного горячего желания мало, нужна еще воля, а вот ее-то у него и нет. Конечно, не следовало бы ездить к Марьяне: уж слишком много обидного она наговорила, и все не в бровь, а в глаз. Размазней назвала, бабой. Все справедливо, баба и есть, тюфяк. Ну, а с другой стороны, куда же податься, как не к ней. Жениться – нет, жениться глупо; надо хоть институт закончить, какую-никакую материальную базу создать: дети ведь пойдут, а чего нищету-то плодить? А ей, похоже, уж замуж невтерпеж. Зачем же за размазню замуж выходить, где логика?

С такими примерно мыслями Осолихин остановился в подъезде дома, где жила Марьяна. Он не мог действовать не рассуждая, ему нужна была заминка, психологическая подготовка, прежде чем войти к Марьяне. Он поднялся на лифте на седьмой этаж, постоял перед закрытой дверью ее квартиры и спустился снова в подъезд: такая на него напала робость. «Хороший из меня выйдет супруг, верный жене до гробовой доски, – подумал он. – Другой бы в моем положении сидел сейчас в парке и кадрил хорошенькую незнакомку, а я как привязался к одной, так и отстать не могу. Ведь выгнала же – нет, все равно приплелся. Как мальчишка себя веду. Пойдет в магазин или еще куда, увидит меня здесь, что я ей скажу?

Впрочем, может, ее и дома-то нет. Надо, однако, что-то делать – либо сматываться отсюда, либо…»

Из подъезда выпорхнула нарядная девушка с белокурыми волосами, рассыпанными по плечам; она не шла, а танцевала, постукивая длинными каблуками; ноги у нее были красивыми, стройные, загорелые. Сердце Осолихина встрепенулось и забилось от внезапного желания.

– Девушка, меня зовут Ипат, а вас?

Осолихин дрожал от собственной наглости, но пошлая шутка казалась необыкновенно удачной.

– А меня Февронья.

Девушка остановилась, замешкалась на минуту – вероятно, от неожиданности и чтобы взглянуть на Осолихина. Тот не спеша, с развязной непринужденностью, которой прежде за собой не замечал, подошел к ней, склонил голову и представился:

– Борис.

– Наташа.

Она была чудо как хороша и смотрела открыто, любознательно, приязненно. И тут Осолихин, слегка ошеломленный ее красотой, допустил оплошность.

– Может, мы сходим куда-нибудь, Наташа? – сказал он, утрачивая развязность, почти просительно.

– Вы меня извините, как-нибудь в другой раз. Я здесь живу. До свиданья.

– Счастливо, – буркнул Осолихин.

Вся кровь всколыхнулась в нем от этой встречи. Он закурил, постоял еще немного, собираясь с мыслями, потом по лестнице быстро стал подниматься на седьмой этаж. «Есть еще порох в пороховницах», – самодовольно подумал он опять из Гоголя, улыбнулся и замурлыкал – единственную строчку из оперетты, какую знал:

Красотки, красотки, красотки кабаре!..

Переведя дух от долгого восхождения, позвонил. Марьяна открыла. Лицо ее было задумчиво, устало. Осолихин дерзко, насмешливо, по-новому взглянул на нее. Она опустила глаза и сказала:

– Я думала, ты не придешь сегодня, не ждала. Ну, проходи.

Он оказался в знакомой прихожей, разделся.

– Ты обиделся на меня за вчерашнее? – трогательно, ласково поинтересовалась Марьяна.

– Нет, – сказал Осолихин. – Приготовь, пожалуйста, кофе.

Он вдруг рассердился на себя, и ему еще раз захотелось попытаться бросить курить и не встречаться больше с Марьяной. Тем не менее, он послушно снял ботинки и надел тапочки, которые подала ему Марьяна. В тапочках он становился домашним, ручным.

Алексей ИВИН, автор, 1978, 2010 г.
Рассказ опубликован в журнале «Наша улица»
Алексей ИВИН

Девушка с васильковыми глазами

Гостиница в Кесне почти всегда пустовала, но сегодня Мария не успевала записывать приезжающих. Группу геологов пришлось разместить в самом большом номере. Важный респектабельный господин с черной папкой и независимыми манерами начальника, который привык возводить на Голгофу своих подчиненных, приказал, чтобы ему отвели лучший номер в этой клоаке. Мария, двадцатилетняя девушка с васильковыми глазами и нежным овалом лица, извинилась и сказала, что не может предложить ничего лучшего, кроме одноместного номера без ванны.

– У нас ведь здесь все по-простому, – добавила она, выписывая квитанцию.

– Вижу, что не шик, – сказал респектабельный господин. – Надеюсь, в номере имеется телевизор?

– К сожалению, нет

– Нет? Это ужасно! Проводите меня, по крайней мере, и покажите, где это паршивое логово.

– По коридору направо, – ответила Мария, стараясь не замечать брюзжания. – Извините, что не могу вас проводить: мне некогда.

– Ей некогда! – злобно пробормотал господин, поигрывая номерными ключами. – Идиотка! – процедил он и ушел, расплескивая спесивость.

После старушки, которая никогда не бывала в гостиницах и поэтому чрезвычайно надоела расспросами, страхами и опасениями, появился мужчина лет тридцати, заметно навеселе, черноволосый, с большим сластолюбивым ртом забубенного пьяницы и с детским заводным самосвалом в волосатой пятерне.

– Ого! – сказал он и плюхнулся в кресло. – Это ты и есть администраторша? Разыщика мне дырку подешевше, а то в низу, в столовой, пиво продают, а денег, сама понимаешь, с гулькин хер. Вот, игрушку купил своему сыну…

Он завел и пустил самосвал по столу.

– Восьмой номер. Возьмите ключи.

– Мерси. Ведь сегодня ты дежуришь? Как же тебя зовут?

– Мария. Возьмите ключи и идите по коридору, потом направо.

– А меня Юра. Вот мы и познакомились, – развязно сказал он. – Вообще, ты симпатяга, как я погляжу. Ну, ну, не буду… До скорого свидания. Вечером я загляну.

Он ушел, его сменили двое командированных – сотрудник научно-исследовательского института и инженер строительного треста. Они были неразговорчивы, потому что, пока

Мария записывала их фамилии, один думал, как бы успеть до закрытия магазина купить баночку вишневого варенья местного производства, а второй, глядя в васильковые глаза Марии, вспоминал свою супругу. Вслед за ними пришел последний в этот вечер клиент – некий Секушин, волосатый парень в очках, в клетчатом пиджаке, назвался корреспондентом и сказал, что располагается на неопределенный срок. Он стоял, потупив очки долу, экзальтированный красотой гостиничной распорядительницы.

Заложив учетную книгу сложенной вчетверо квитанцией в том месте, где кончались записи, Мария прошла в дежурную комнату. Больших беспокойств сегодняшнее дежурство, по-видимому, не сулило.

Поздним вечером пришел и Сергей. Мария ждала его, прильнув к окну. Увидев его, она отстранилась с сильно забившимся сердцем и придала лицу выражение серьезности и занятости: она боялась, что Сергей поймет, как нетерпеливо она его ждала.

Он вошел, высокий и белокурый, элегантно одетый, и кротко улыбнулся.

– Ты одна? – спросил он; было видно, что ему приятно быть с нею наедине, как шулеру – играть с новичком. – Можно у тебя закурить?

– Закуривай! Ты же знаешь, меня дым нисколечко не беспокоит.

Он утвердительно мотнул головой, давая понять, что знает, но как джентльмен не мог не спросить позволения.

– Хотел сегодня пойти в кино, – сказал он, садясь поближе к Марии, потому что любил смотреть на нее, – но почему-то удержался… – Он многозначительно замолчал. – Ты не возражаешь, что я пришел?

Мария посмотрела нежно и доверчиво и ответила, что не возражает. Нет, она совсем не против того, чтобы он приходил к ней иногда: ведь бывает так скучно.

– Я уйду, как только ты меня прогонишь, – заверил он и взял ее за руку. Рука была маленькая, белая, с младенческими припухлостями; она совсем исчезла в его руке. Было что-то спокойное и уверенное в слабом пожатии, идущее от взаимной любви, и он начал сладко лепетать, как ребенок под ласками матери. Ему то ли хотелось заснуть, то ли выговориться, доложив возможно обстоятельнее, как он счастлив.

– Я люблю бывать с тобой… не знаю почему… Не знаю почему, – повторил он, дразнясь возможностью расшифровать – почему, но предоставляя это право Марии. – Скучно одному. Весь день ходил как в воду опущенный… Не знаю, что со мной случилось. Позавчера я ушел от тебя, думал заснуть, и ничего не вышло: лезли в голову какие-то странные мысли; а утром, когда мать разбудила меня, она сказала, что я улыбался во сне… Какие у тебя красивые руки! За одни твои руки я готов…

И он быстро поцеловал ее руки. Мария зарделась и смутилась, ликуя от счастья; она хотела заговорить, чтобы скрыть замешательство. Сергей поднялся и прошел по комнате, усмиряя волнение в крови. Он чуть смущался, что решился на такую дерзость, как целование ручек; но надо же когда-нибудь начинать. Он думал.

– Я, пожалуй, пойду, – сказал он вдруг, пристально заглянув в васильковые глаза. Недоумение, испуг и обида мгновенно отразились на чистом лице Марии. – Да, надо идти, уже поздно. Тебе скоро ложиться спать, я не хочу тебя беспокоить.

Мария хотела возражать, что он ей нисколько не мешает, но подумала, что, может быть, он уходит не потому, что она обидела его, а потому что ему надо идти: ведь он волен уходить, зачем она будет его задерживать?..

– Ну, о ревуар, – сказал он с галантностью человека, уверенного в своей неотразимости. – Я приду, если ты не возражаешь, завтра днем.

Он вышел. На улице он остановился и посмотрел на окно Марии. Не получалась его любовь. Грустные мысли закрадывались в голову; он корил себя за то, что рано ушел, сознательно ушел, чтобы причинить Марии боль и крепче привязать ее к себе; он влюбленно и живо представил, как Мария одиноко сидит на диване и думает о нем, а он здесь, за стеной, думает о ней, и никак им не слиться, двум сердцам, разделенным одной стеной.

Вдруг в окне Марии показался мужской силуэт. Ангельски чистые мысли Сергея сменились страшными подозрениями, которых нельзя вынести, если они не подтверждены. С любопытством и коварной мстительностью любовника, который хочет изобличить изменницу, он торопливо взбежал по лестнице и прокрался к дверям, схоронившись за выступ стены.

– Что вам от меня нужно? – спросила Мария нетерпеливо, но без подозрительности и испуга.

– Что-что… – пожурил ее мужской бас. – Крошка, я же сказал тебе, что приду наведаться вечером. Вот и пришел.

– Зачем?

– Ха-ха-ха! Не догадываешься? А ведь наверно слыхала анекдоты про командированных?.. Потеха, да и только… Переспать с бабой не худо…

– Не подходите ко мне! От вас пахнет водкой…

– Водкой? Вот сказанула! Где же я водки-то достану, если в столовой только пиво? Нука, дай я тебя…

– Что вы делаете?! Отойдите, а не то я закричу… – Голос Марии срывался.

– Ха-ха-ха! Ничего. Где тут выключатель?..

Бас звучал как добродушное хрюканье борова.

– Помогите! – закричала Мария в отчаянии.

– Не бузи! – прохрипел бас, зажимая ей рот.

Когда Сергей услышал призыв о помощи, сердце захолонуло в его груди. Несколько мелких, вороватых шагов – и он оказался на лестнице, а потом кубарем скатился вниз. Свежий морозный воздух придал ему сил; он бросился бежать; в мозгу стучала одна мысль: меня там не было, меня там не было, я ушел раньше…

В гостиничном коридоре стояла тишина. Геологи спали, инженер-строитель делал выписки из инструкций, а респектабельный господин, любивший ночью заниматься онанизмом, замер, как преступник, накрытый с поличным.

©, ИВИН А.Н., автор, 1976, 2010 г.
Алексей ИВИН

Дождливым вечером

Сентябрьский лазурный полдень томился в солнечных лучах, навевая сон и покой. Деревенская улица, запрятанная в садах, была пустынна. Только несколько рябых кур грелись, лежа в песке. Ни звука, ни шороха.

Дед Матвей, семидесятилетний старик, копал картошку. Слабый ветер шевелил тонкие повылезшие волосы на его голове, седые, как паутина в изморози. Копал он не спеша, скупо, как будто даже нехотя. Картофелины не подбирал, а, поддев на лопату, отбрасывал в общую кучу, потому что наклоняться мешала нога, простреленная еще в финскую кампанию. Выкопав десяток картофельных кустов, садился отдыхать на траву. Сидел, умильно щурился на солнце, разминая папиросу толстыми пальцами, и на благодушном лице его было написано: «Как хорошо-то, Господи Боже!»

В один из таких перекуров он услышал, как сзади скрипнула калитка. «Что-то рано сегодня Петька с работы пришел», – подумал он и обернулся. Но увидел почтальоншу Клаву. Она шла прямо по некопаной гряде, на ходу доставая газеты из сумки.

– Труд на пользу, Матвей, – поздоровалась она. – Что это тебе, старому, дома-то не сидится? Петька-то небось поздоровей тебя, шел бы да и копал сам.

– Ну, и я еще мужик хоть куда, – возразил Матвей, лучезарно улыбнувшись, так что озарилось все его седобородое патриаршье лицо, и попытался приподняться навстречу.

– Сиди, сиди, мужик, – поддразнила она его. – Я тут тебе телеграмму принесла и пенсию. Пенсию-то ты получишь или Петьке отдать?

– Я, как же, я! Только и радости-то, а ты – Петьке отдам…

– Ну, на, расписывайся вот здесь.

Она протянула ему ручку и ведомость. Он поставил свою подпись так же любовно и тщательно, как до того копал картошку. Потом тревожно спросил:

– А телеграмма-то от кого?

– Откуда мне знать, – бросила Клава через плечо и пошла к другой избе.

Матвей пересчитал деньги, аккуратно завернул их в носовой платок и положил в нагрудный карман спецовки. На телеграмме значилось: «Корепанову Петру Матвеевичу».

«Петьке», – подумал Матвей, и хотя он никогда прежде не читал ни писем своего сына, ни других бумаг, что-то заставило его распечатать телеграмму.

«Умерла мама приезжайте похороны двенадцатого =Лида».

После третьего прочтения до Матвея дошел смысл написанного, и лазурный полдень померк для него. Он долго сидел неподвижно, возвышаясь в траве, как валун на засеянном

поле. Сидел и думал. Потом встал и тяжело заковылял к дому, повторяя в уме, как молитву: «Что я тебе говорил, старуха? Что я тебе говорил? Врозь помрем… Разведут нас дети… Вот и вышло так!»

К вечеру собрались тучи, пошел дождь, как это бывает осенью, – сначала крупный, веселый, затем моросящий, холодный, зарядивший надолго. Матвей сидел у окна, подперев голову руками, в глубокой задумчивости. Он не заметил, как с работы вернулся сын.

Петька пришел поздно. Это был крупный, живой, предприимчивый мужчина. Жена с ним развелась, детей не было. Маленькие глазки на его безбровом лице оживленно и неуловимо бегали, словно ртутные шарики. Шумно раздевшись в передней, стряхнув воду с плаща, он прошел в горницу и, увидев отца, спросил:

– Ты чего в потемках сидишь?

Матвей очнулся. Петька включил свет, задернул шторы и ушел на кухню. Было слышно, как он чиркнул спичкой, чтобы зажечь газ; загремел кофейник.

– Ты завтра в обед дома будь, – сказал он оттуда. – Не вздумай к соседям уйти. Я договорился со знакомым шофером, он привезет шифер. Поможешь разгрузить. В субботу начнем крышу перекрывать. Я мужиков приведу. Помощник из тебя неважнецкий, ну да уж что делать… Сидишь тут целыми днями, хоть бы кофе разогрел.

Матвей тяжело поднялся со стула и проковылял на кухню. Он был еще крупнее сына, что называется – дородный.

– Ты вот что… – Он положил руку на его плечо. – Старуха моя умерла, а твоя мать. Телеграмму вот принесли.

Бегающие глаза Петьки оторопело остановились.

– Вот тебе на! – выдохнул он и сделал движение рукой, точно хотел перекреститься. – Давно?

– Что давно?

– Умерла-то, говорю, давно?

– Двенадцатого хоронить будут, – устало произнес Матвей; он чувствовал, что смотрит в перепуганное, перекошенное лицо с отвращением.

Петька, зажатый между столом и нависшей над ним фигурой отца, бочком протиснулся в горницу – на свободу. На минуту в доме воцарилась тишина, только слышно было, как тоненько сипит кофейник.

– Придется мужикам отказать, – сожалея, проговорил наконец Петька и скомкал телеграмму. – Такое дело…

Он задумался. Мало того, что придется отказать мужикам, – нужно будет еще отказать и шоферу, которого с таким трудом уговорил. Целый месяц соблазнял – привези да привези шиферу, чего тебе стоит. Ленивый народ эти шофера, корыстолюбивый: даром шагу не сделают. А другого такого случая не подвернется. Что делать? Да и начальству ведь придется сообщить. А самое-то главное, что ехать-то полторы тысячи верст, с пересадкой. Так! Сегодня десятое… Нет, не успеть ему, как ни вертись. Как назло, и погода испортилась. Одно к одному!

Из раздумий его вывел Матвей.

– Ну, так что? – спросил он.

– Что! Что! – заорал Петька. – Что! Думай кумполом-то своим – что! Не поеду я никуда – вот что! – Он выругался. – А эта дура, еще сестрой называется, тоже хороша: хоть бы пораньше телеграмму подала. Что старуха, мол, при смерти. А теперь чего? Чем мы теперь матери поможем? Да ничем. Один день остался – куда мы потащимся

– Ты не ори, – тихо сказал Матвей.

– А я и не ору! – взорвался Петька. – Чем она думала, когда телеграмму подавала? Знает ведь, что у меня делов невпроворот. Что я теперь мужикам-то скажу? Что же мне теперь – все бросать да ехать? Подумай сам-то, что городишь.

– Я поеду один, – твердо сказал Матвей.

– Куда? – рассвирепел Петька. – Куда ты поедешь! Ты что, озверел, что ли? Да ты же по дороге загнешься! А дознаются, кто да почему, ко мне опять же прицепятся – зачем отпускал? Сиди дома. Тоже мне – ездок нашелся. До уборной не можешь съездить – водить приходится, а туда же: поеду, поеду…

Матвей, не отвечая, стал собираться: поверх спецовки напялил старый охотничий плащ, нахлобучил кепку. Петька наблюдал за ним, побелев от гнева. И только когда Матвей взялся за дверную ручку, Петька подскочил к нему и, приплясывая возле, как боксер вокруг груши, неистово закричал, брызгая слюной:

– К дочери подался? Плохо тебе со мной? У сына, значит, не живется? Вот ты как! Ладно. Я, значит, худой, а ты, выходит, хороший. Я прихожу с работы, промок весь до ниточки, жрать хочу как собака, а он сидит-посиживает, и горя ему мало! Вот какая мне благодарность! Я тут работай день и ночь, ломи как окаянный, а ему лень помочь машину разгрузить. Смотри не прогадай! У меня ты как сыр в масле катаешься, а у дочери-то у своей и голодом насидишься. Помяни мое слово. Обратно попросишься – не пущу. Хватит надо мной издеваться, я тоже человек!

– Не человек ты… – скривив дрожащие губы, сказал Матвей. – Не сын ты больше мне и покойнице…

И вышел, хлопнув дверью.

Петька отпрянул, словно его ударили по лицу, но, не в силах сдержать злость, душившую его, прокричал вслед:

– Ладно! Еще вернешься! Посмотрим, далеко ли уедешь без денег-то!

©, ИВИН А.Н., автор, 1977, 2010 г.
Рассказ опубликован в сборнике «Дорога домой» (изд-во «Современник», 1986)
Алексей ИВИН

Дом на крови

Прошло достаточно много лет, чтобы говорить в третьем лице: Миша Горячев, он. Он в том возрасте, который так раздражает взрослых непоседливостью: десять-двенадцать лет. Чего эти, которым от тридцати до сорока, никогда не понимали, так это особого мира, в котором живет ребенок; для них важна их собственная жизнь, их заботы (Миша – одна из них), из которых ребенку отведен сектор, ячея, а так как границы, ему отведенные, он постоянно нарушает, его постоянно наказывают. Основное противоречие отцов и детей в том, что отцы, стремясь к покою и размеренности, уже наполовину покойники, дети же подвижны, живы и потому вторгаются. А в лесной деревне (шестидесятые годы), облитой зноем и из лесу наплывающими запахами распаренной хвои, у взрослых от истомы размякают члены, исчезают из головы последние мысли и клонит в сон. В этом и заключается пресловутый идиотизм деревенской жизни: деревенские способны лишь на физическое усилие, да и то если не пьяны, умственные же им почти не даются – тотчас отнимаются землей, ветром, простором. Деревенский человек слишком мал и рассеян в пространстве, ему не перед кем казаться, фасонить, не к кому относиться, кроме коровы, кота, кур: они отнимают у него последние силы для выражения скудной мысли. Этот двуногий придаток избы, двора, скота изначально апатичен и пропитан неверием во всякое преобразование: авось.

И в этом духе Мишу Горячева воспитывают, если он под рукой, а не скитается сам по себе без пути на реке и в окрестных лесах. А скитается он там потому, что у него особый мир, который взрослым непонятен, неприятен, чужд. Миша уже изверился – так часто его обрывали! – в возможности преемственно согласовать свой мир с их миром. Он очень одинок, зол, часто их ненавидит, ни в чем не повинуется, только тайком плачет и, когда ему выговаривают, скалит зубы, как волчонок. И он в том возрасте, когда хочется отделиться от них на своих, новых и справедливых, началах. А для этого необходимо срубить в лесу избу и зажить самостоятельно, иначе, чем они, без их безобразий, пьянства и неуклюжих пьяных сношений: удовольствия у них убогие, без выдумки и без радости. Таков его замысел, который созрел: уйти, отделиться.

Это решение пришло неожиданно, но оно так желанно, что Миша без напоминаний принес несколько ведер воды и охапку дров к печи, – откупился от них до позднего вечера, чтобы уже без страха перед возможной нахлобучкой свое намерение начать осуществлять. Из дровяного сарая он похитил маленький легкий топор и, спрятав его под рубахой, через поле двинулся под медвяным ветром к перелеску, что курчавился по берегам речки. Там его избу могут обнаружить, но в этой березовой веселой солнечной роще уютно, легко – не то, что в суровой, дикой и мрачной тайге. Она прохладна, травяниста, солнечные пятна играют повсюду, в ней встречаются небольшие бурые муравейники и пчелы. Она сбегает по косогору к реке, над водой зигзагами летают, сухо шелестя, прозрачные стрекозы, в воде плавают пескари и малявки. Пахнет зверобоем, муравьями, смолистой хвоей. Райское местечко, чтобы забыться, даже если не строить избу, а просто гулять.

И уже под зеленым пологом, отмахиваясь веткой от слепней (жаркий полдень, об эту пору и стада лежат, страдая от них), уже постояв над речкой (течет, хрустальная, колышет осоку), он от первоначального замысла отказывается: даже ему, мечтателю, ясно, что срубить избу так скоро не получится. Была идея избы, ухода из родительского дома в свой, но можно обойтись и шалашом; обидно, но можно согласиться на дешевку и суррогат, хотя

ни того, ни другого он не терпит: ему подавай либо совершенное, либо никакого. Сейчас важно другое: утолить острое, приступообразное стремление к независимости.

В укромном месте, на сухой прогалине, где качаются лесные колокольчики, он забивает в землю первую сваю – свежий березовый кол, потом второй, обозначая ворота, вход. А вот с перекладиной не ладится: забыл взять гвозди, чтобы приколотить, или проволоку, чтобы привязать; был радужный замысел, а исполнение мыслилось без усилий, без этого жестокого пота, мозолей, ссадин, комарья. Миша Горячев – мальчик настырный, культуру и цивилизацию ему заменяет природа. Он знает точно, что так, как э т и, жить нельзя. Он ранимый – уже израненный, вспыльчивый, его деревенская кличка – Козел: если козла, с бородкой, как у поэта Некрасова, и гнутыми рогами, раздразнить, он быстро свирепеет, фыркает, бодается, гоняется за детьми, навострив рога, и даже испускает зловонную зеленую струю мочи. Мальчишки – народ наблюдательный, кличку без сходства не дадут. И вот теперь, возясь с верхней перекладиной, на которую – по замыслу – должен лечь настил шалаша, он вполне обнаруживает черты раздраженного козла: злится, чертыхается, покосившиеся колья поправляет и сверху обухом бьет, но в плотный дерн они лезть не хотят, тем более что плохо заострены. Не вытанцовывается замысел. Под этим жарким кучевым небом нет сейчас существа ожесточеннее и несчастнее, чем он. От бешенства и сознания полного банкротства он плакать готов, смириться же с неудачей не может: горяч и в злости непредсказуем. Из таких – в криминогенных семьях – вырастают преступники; а семья та самая, криминогенная: мать матюгальщица и за мужицкий нрав прозвана «розмужичьем», отец пьяница и скандалист, в доме ни одной книжки. Такая среда. Кто в его возрасте на фортепьянах бренчит или хотя бы про Тома Сойера читает, у тех и в дальнейшем путь глаже, свободнее: есть навыки общения. Но это уже и характер: замышленное должно быть реализовано тотчас, без отлагательств, без приготовлений, немедленно. Это маниакальное упорство впоследствии многих будет в нем отпугивать.

Уже вечереет и кольев нарублено много, ладони в кровь исцарапаны, в берестяной шелухе и еловой смоле, а шалаше все нет. И дома, у э т и х, готовится гроза: они скоры на расправу, им не до побудительных мотивов, которыми он руководствуется. Уже и злоба прошла; игра сыграна, проиграна: воплотить замысел немедленно и в пленительном совершенстве не удалось, а назавтра – не хватит пороху: воплощение не предполагалось растягивать на два дня. Он устал и проголодался. А в восемь вечера в клубе будет кино. Но он уже миролюбивее, чем с утра, стремление к независимости утолил. Оттерев ладони речным песком, он возвращается почти довольный, перегоревший. Небо очистилось, солнце еще высоко, с возвышенного поля, засеянного клевером, хорошо видна вся деревня – серые избы, повернутые дворами, два-три высоких дерева. Деревня, шестьдесят дворов, расположена глупо – не вдоль речки, а поперек. В левой ее части только один колодец – между всхолмиями полей, у ручья, где по вечерам скрипят коростели. К нему-то и направляется с пустыми ведрами на расписном широком коромысле сухопарая тетя Поля Кувакина.

У колодца, не входя в сруб, она его поджидает, и ее намерения ему не понятны, потому что, вообще-то говоря, за всю его двенадцатилетнюю жизнь эта ведьма со впалым ртом и крючковатым носом не сказала с ним и двух слов.

– Здрассте, тетя Поля.

– Ой, дитятко ты сердешное, Мишенька! Бежи-ко скоряе домой-то, обыскались тя. Ведь отеч-от твой що изделал, ведь застрелився из ружья! Ищут тебя с обеда, мать-то там убива-

ется, ревит голосом, на зауке-то полдеревни собралось, а тя найти не могут. Бежи-ко скоряе, сердешный… Куды с топором-то ходил?

– Да в лес.

Тетя Поля Кувакина больше ничего не произносит, но еще какое-то время стоит перед колодцем с пустыми ведрами и смотрит ему вслед. На душе у него становится тревожно, но иначе, чем обычно, когда он, запоздниившись, возвращался домой, предчувствуя брань, а может, и побои. Сейчас на душе у него тоскливо, ее обнимает волна подступающего ужаса. Он бежит со всех ног по тропинке, под мягким ветром с обеих сторон волнуется нежно-зеленый овес.

На лужайке перед избой и впрямь толпа – бабы, дети. Все скорбно, недоуменно молчат, притихли, жмутся, слышится лишь тонкий, визгливый плач матери, из которого ему ясно, что лучше бы туда и не ходить. И все-таки из-за чужих спин он с опаской туда выглянул. Отец лежал навзничь, неловко подвернув ногу. Мать припадала к нему, болезненно вскрикивала, визжала и зачем-то всякий раз боязливо касалась его окровавленной головы. На траве вокруг брызгами, отдельно, точно кто растряс перловую крупу, валялись серенькие, с кровью, мозги. Над трупом смущенно стоял Савелий Булочников, сосед, с которым отец был в большой дружбе, мялся и, казалось, мучительно решал, собирать ему эти разбрызганные мозги или утешать вдову.

Дальнейшее Михаил Горячев помнил смутно и вспоминать не любил: подташнивало.

©, ИВИН А.Н., автор, 1997, 2010 г.
Рассказ опубликован в журнале «Лесная новь»
Алексей ИВИН

Заболевание сосны

Павел Коточигов в восемь часов утра сел на электричку, отправляющуюся в столицу нашей Родины Москву из провинциального города Радова. На седьмом километре по правую сторону потянулось верховое болото, редко заросшее молодым сосняком. У некоторых сосен хвоя приобрела цвет желтой меди – золотистый и тусклый. Золотые деревья среди зеленых выглядели очень красиво, нарядно.

Кажется, это заболевание называется шютц. Снежный шютц. Или, может, шмуц? – обратился к себе Павел Коточигов. – Шнейс? Слово, помню, звучит по-немецки. Шнапс? Нет, не шнапс. Гнейс? Цейсс? Цейсс – это, вроде, разведчик или фирма, производящая бинокли. А гнейс – плитняк. Тогда шмутц? Шмутц-титул. Эрзац-хлеб. Какая херня лезет в голову, – закончил свои размышления Павел Коточигов и отвернулся от окна.

Дорожные рабочие в оранжевых безрукавках лакали водку на четверых и одновременно играли в карты – в преферанс или в кинга (Коточигов умел только «в пьяницу»: это когда из одной половины колоды и вместе из другой открываешь и, которая карта важнее, та и берет взятку; получается, что один партнер пропивается, а взятки другого растут и колода у него пухнет). Они делали и то и другое – и пили и картежничали так смачно и беззастенчиво, что Павел Коточигов опять разозлился и опять отвернулся – к окну.

Снежный шмуц. Гнус. Нет, это «Учитель Гнус». Шмуке? Это тоже вроде немецкий персонаж. Ну, не Шмидт же? Да уж конечно, не Шмидт. Шнеерсон? Там, в этом слове, есть шипящие и свистящие звуки. Как же, Господи, называется это заболевание?

Снежный барс, – подсказал Коточигову внутренний голос.

Иди ты в задницу, – возразил Коточигов, – сам ты барс.

Тогда, может, швепс? – допытывался голос. – Шшвеппссс! Ах, как хорошо утоляет жажду швеппс!

Ну, у него еще два варианта, у этого заболевания, – упорствовал Коточигов. – При одном иглы желтеют и слегка свиваются, а при другом желтеет только одна иголка, а вторая остается зеленой.

Тебе бы лесоводом устроиться, – может, попробуешь? Чего кусочничать в Москве? Проживешь жизнью настоящего мужчины…

Ага, вон как эти дорожники: мат-перемат, веселый хохот, забористые шутки и крепкое гомосексуальное дружество. Вон они как вкусно начинают рабочий день: точно их мать сразу четверню родила, а потом они друг на друге переженились. Россия, мужской бородатый поцелуй, царь Ашшурбанипал, бородатый повстанец курд.

Ну, в общем, – не понятно кому объяснял Коточигов, – оно возникает у совсем молодых сосен, таких маленьких, что их зимой целиком засыпает снегом. Считалось, что это как-то зависит от величины снежного покрова.

Причем здесь снежный покров? – грубо вмешался внутренний голос. Это же грибковое заболевание. Грибок. Парша.

Снежный шнусс. Шнейс, шмиссе. Скажи уж, Шамиссо. Шмус, шурф. Ну, немецкое же слово.

Шнеерсон – самое немецкое.

Снежный шанс. Шнежный шансс. Тьфу, черт!

Может, шерешпер? – спросил голос.

Ты что: шерешпер же – рыба.

Ну, тогда не знаю.

Во-от. Вот и я не вспомню никак.

Проехали длинную железнодорожную платформу, болото и сосняк кончились, потянулся веселый мелкий весенний березняк, когда листья еще так свежи и зелены, что их хочется приласкать.

Может, шинусс? – уныло спрашивал Павел Коточигов на семьдесят пятой версте своего пути (приближалась уже столица, шли крупные микрорайоны, точно куски рафинада, поставленного на попа).

Ага, скажи уж сразу: шинуаз. Или еще лучше: шизо. Шледштвенный ижолятор. У тебя зубов нехватка, вот и кажется, что все шипящие и свистящие звуки.

Стейтс?

Ага, во-во: Юнион Стейтс лимитед. Повальное заболевание в Юнион рипаблик оф Раша.

Приеду на работу, перерою все справочники, какие есть, но узнаю, – решил Коточигов. – Иначе точно свихнусь… Пшют? Шпур? Шнур?

Лошадиная фамилия, съязвил голос.

Пшют? Psst, как говорят французы, вроде нашего: тс-с-с! Пшепрашем, пани. Пушт? Пуштун, вражда гвельфов и пуштунов. Пестицидами отравилась, вот и заболела: снежный пестц. Шест? Шестов. Вот именно: Шестов, Шварцман, Шварцкопф, шипящих и свистящих навалом.

Может, все-таки шютце?

©, Алексей ИВИН, автор, 1997, 2009 г.
Рассказ опубликован в журнале"Наша улица»
Алексей ИВИН

Запасной вариант

– Ну, и это всё, что ли? – грубо спросила Любочка, приподнялась на локте, пытливо и бесстыдно заглянула в глаза. Корепин, пожалуй, простил бы, легче перенес бы иронической насмешку, а вот такую оскорбительную грубость – нет. В ее циничном беспощадном вопросе и смутном лице (было темно) он уловил злую надменность и, уязвленный этим, внутренне ощетинясь, спрятал глаза и отвернулся к стене. Ему захотелось ответить чем-нибудь столь же хлестким и обидным, столь же унизительным. Как бы она ни ерепенилась, не станет же она отрицать, что подобрал-то он ее на улице, в аллее – вышел, как обычно в последнюю неделю, прогуляться на сон грядущий, полюбоваться закатными, багрово-золотистыми облаками, вдохнуть посвежелого воздуха, чтобы себя, расторгнутого, соединить с миром. Он жил один на даче своего друга, корпел над дипломным проектом городской бани, дорабатывал его: диплом он уже защитил, но в строительном управлении его проект забраковали как чересчур изысканный, потребовав переделок. Ему, проектировщику бань, приходилось совмещать несовместимое – работать на потребу дня и восхищаться чертежами Леонардо да Винчи и ведутами Франческо Гварди в надежде извлечь оттуда пользу для себя. Он шел по дряхлой липовой аллее, смакуя майские, какие-то почти чахоточные ароматы, как вдруг из беседки, мимо которой проходил, его окликнула высокая длинноногая блондинка. «Эй, Борька, куда поплыл?» – испитым и прокуренным голосом позвала она. Он охотно обернулся на зов, хотя мог бы ответить, что она обозналась; даже ее зазывный блатной тон не оттолкнул его, потому что не только природой и великолепным вечером насладиться, не только ради полезного и осмысленного променада выходил он, а еще и для того, чтобы случайно встретить женщину, одержимую тем же бесом, тем же безотчетным влечением, что и он: было одиноко, и была потребность контакта, пусть случайного. Первым он не завязал бы знакомство (из опасения наткнуться на спесь, высокомерие, конфуз и, следовательно, испытать упадок духа), но убедиться, что он не одинок в тайных терзаниях плоти и в надежде на случайное тепло, этого он хотел – высвободиться. Фривольный оклик его всколыхнул и – в тон ему – он ответил, что хотя он не Борька, а всего лишь Петька, это в принципе все равно и он охотно присядет возле хорошенькой девушки: подыгрывал ей, изображал беззастенчивого шалопая, ей соразмерного и понятного. И хотя сразу же, начав ломаться, играть роль, себе не свойственную, ощутил внутренний дискомфорт и протест, интерес к игре и к тому, чем она кончится, сохранился и даже усилился, когда (неуловимое понимание без слов, через взгляд) стало ясно, что она звала именно его. Игривая праздная шалунья. Но тон ее оклика, предлог (Борька) был заранее самозащищенный, себя обеляющий: если он не остановится, то подумает, что она обозналась, если клюнет, хотя зовут не его, значит сам не прочь познакомиться. Итак, ее товар – его цена (если грубо, о б э т о м); если проще и человечнее – обоюдная надежда: а вдруг сегодня?..

Они познакомились, стакнулись. Он пригласил Любочку к себе (не сразу, спустя время, в удобный момент, когда почувствовал, что она согласится и ждет). И вот они пошли, она – через внутреннее сопротивление, не слишком ли легко согласилась и не вообразит ли он бог весть что, сосредоточенная, задумчивая, он – оживленный, взволнованный, болтливый (заговаривал, умаслял), слегка даже лихорадочный и тоже в нерешительности: потому что был запрет, происки беса, страх – Светлана, невеста. Всего лишь неделю назад, вся в предсвадебных хлопотах, Светлана приезжала к нему из Логатова; для нее свадьба была решена и неминуема, он же, после ее отъезда, сопротивляясь неминуемости, подыскивал в уме, нет ли другого, не столь бесповоротного варианта и развития событий. Итак, сейчас он поступал по отношению к ней нехорошо, подло, и это притом, что тогда, с ней, был искре-

нен, а прощаясь даже прослезился и, хотя ничего не обещал (не поддерживал впрямую ее бракосочетательного торжества), молча все же поклялся н е о с к в е р н я т ь. Тогда, при встрече, было ощущение ее – торжества и его – обреченности, пути в западню, а сейчас, рядом с Любочкой, представлялось (или пугало?), что у Светланы – кроткая красота, тихая поступь, внимательные глаза, болящие за него, нервного и беспутного, голубиная чистота, венчающая ее как нимб, детская привязчивая беспомощность, любовь. Чем же были его слезы при расставании? Самооплакиванием? Заблаговременным покаянием накануне торопливой (прежде чем жениться) готовности согрешить? Потянуло кота после сливок на сырое мясо. Что же это такое в нем сидит странное, жадное, подыскивающее запасной вариант? И то сказать: со сливок пучит; а вот если поймать мышь и вонзиться в ее теплое бархатистое голенькое брюшко кровожадными клыками, чтобы под алчным языком содрогнулась и умерла последняя пульсирующая жилка, – это острее и необходимее, это запасной вариант, это разговенье, это возможность ощутить себя сильным и жизнеспособным… Что-то, однако, не похожа эта Любочка на жертвенную мышку. Настолько не похожа, такой крепкий орешек (это чувствовалось), что он даже попритих, предощутил, что и это – западня, и пожалел, что связался с ней. Внешне-то он по-прежнему улыбался, предвкушал, приценивался, увлекался острой чувственной игрой взглядов и слов, а внутри нес смутную тревогу, почти паниковал. Важно было подавить эту панику, и он ее подавил – там, уже на даче, когда обнял Любочку и они поцеловались; но, замещая панику, вылезло и расположилось в душе чувство вины. Не одно, так другое, не дыра, так прореха. Впрочем, ему полегчало, когда Любочка освоилась, осмотрелась, вписалась в интерьер и, увидев Светланину фотографию, спросила напрямик, не женат ли он; он ответил, что нет, бог миловал – не солгал, Светлану не очернил, но от этой темы – от сопоставления – захотелось уйти. К счастью, Любочка больше об этом не заговаривала – успокаивалась, знакомилась с обстановкой: напевая, перетрогала все вещи на ночном столике, пока он собирал закусить и выпить на двоих, покрасовалась перед зеркалом, подвела губы, смахнула невидимую пылинку с безукоризненно чистой щеки, закурила, повернулась к окну, за которым вразброд толпились деревья Мичуринца и грохотали электрички. Не опасаясь встречного взгляда, он впервые глазомерно оценил Любочку, не почувствует ли жалости к ней, не появится ли стремление ее ободрить, – и от ее узкой спины с обозначенными лопатками, от серой юбки, зауженной в поясе и колоколом расходящейся книзу, от стройных сухих ног в дешевом капроне, от всей ее слегка ссутуленной фигуры на фоне окна и от тонких, как паутинки, волос, не заколотых в прическу и опушавших бледную шею, на него и впрямь повеяло грустью, беззащитностью. Именно так, со стороны, не обнаружится ли в ней женская слабость и не потребуется ли его мужская поддержка, он не раз рассматривал и Светлану. И как бывало со Светланой, когда та от него отчуждалась, он подошел к Любочке сзади и обнял за плечи, чтобы она не грустила, не отдалялась и не удалялась в заоконное путешествие, но если Светлана всегда в такие минуты признательно, доверчиво склоняла голову на грудь, то Любочка лишь посмотрела – холодно, сухо, бесцеремонно, как дикий зверек, которого пытаются одомашнить: она была чужая и породняться не собиралась. Ласковые ободрительные слова замерли у него на губах; он поспешил снять руку: окруженная броней самодостаточности, Любочка в утешении не нуждалась; имитировать любовь не удавалось. Ну что ж! Он усадил ее за стол, налил себе и ей мадеры в тонкие бестелесные рюмки-бутоны, сохраняя на переносице отчужденную складку, а в движениях – деловитость, чтобы Любочка не подумала, что он сентиментален. Сближение протекало вяло, реакции взаимодействия не было – был лишь, судя по всему, взаимный головной расчет. Из немногих слов, которые были между ними произнесены, он понял, что Любочка ищет денег и надежного мужчину, который бы ее содержал. Они молча и торопливо, как лекарство, выпили вино, чтобы скованность прошла и появилась развязность. Когда мозг слегка затуманился, Корепин, форсируя достижение цели, грубовато обнял Любочку, усадил на колени,

и они поцеловались, чуждые друг другу настолько, что он с отвращением ощутил мыльный запах и липкую приторность ее помады, а Любочка даже не прикрыла глаза: он наткнулся на ее посторонний равнодушный взгляд никуда и прервал поцелуй. Они стали еще дальше, чем прежде. Любочка торопливо закурила, чтобы за дымом, поднося сигарету ко рту, скрыть ощущение пустоты и неуютное беспокойство. Корепин почувствовал, что они с Любочкой в чем-то одинаковы: может быть, в подавленности, в недоверчивости. Тягостно мучаясь, они выпили еще – допинг, необходимый, чтобы преодолеть барьер; оба отлично знали, чего хотели, но, одинаковые, одноименно заряженные, отталкивались. Корепин встал со стула и нервно зашагал по комнате: следовало что-то предпринимать, но драпироваться в высокие чувства, говорить о любви в пылу и страсти, – нет, на это язык не поднимался. И тут Любочка неожиданно позвала его, мягко, почти томно (захмелела), позвала и крепко, с внезапной чувственной силой привлекла к себе, погладила по голове и проворковала: «Ты ведь хороший, правда? Ты хороший?» В этом было что-то материнское, утешительное – перемена, странная после настороженности и резкости. Он подумал, что резкость, грубость, выжидательность – ее защитные маски; подумал он и другое: охотница за деньгами хочет замуж, думает, что эта дача – его, хотя и не спрашивает об этом прямо. Впрочем, он понял (на периферии сознания), что ни то и ни другое, а просто два мучительных одиночества безуспешно пытаются обогреться друг возле друга. И допуск, позволение на это со стороны Любочки было дано; обласкав, она призывала его не сомневаться, не колебаться – действовать, и пусть будет что будет. Пусть нет любви и влечения, зато есть нужда: их обоих жизнь так скрутила, что деться некуда, – надо попробовать, надо продолжать надеяться, не возникнет ли теплота…

Он почувствовал (сквозь раздражение своей неласковой нерасторопностью), что так (настолько без любви) зеленщица обдирает с капустного кочана вялые верхние листья… Любочка подчинилась с усталой раздражительной гримасой на лице, вяло прижалась и закрыла равнодушные глаза; ее бесило, что это совершается так скоро и так принудительно, без предварительного обрядового подготовительного действа, и она думала, что, видно, такова ее участь – ходить по рукам. Но попытаться все же следовало: как знать, не придут ли тепло, привязанность и нежность потом?..

Но этого не случилось. Не произошло вообще ничего, потому что в Корепине, подавляемый им, сработал тот самый запрет, то табу, которое присутствовало в нем с первой минуты знакомства с Любочкой. Корепин уткнулся в подушку, и вот тогда, возмущенная и уязвленная, с холодным грубым отвращением Любочка и спросила:

– Ну, и это всё, что ли?..

Эксперимент провалился. Любочка была женщина, покорная мужской силе и власти, пассивная; но, взамен и в качестве компенсации за покорность, она требовала денег и развлечений. К сильным мужчинам она привязывалась, в них мучительно влюблялась. С их триумфальным шествием по жизни связывала сокровенные надежды, «виды» – веселящей роскоши, автомобилей, красавца любовника, а лучше – супруга, на зависть подружкам, да чтобы автомобиль был заграничной марки, а мужчина – вылитый Джеймс Бонд, чтобы были пляжи, фешенебельные рестораны, лакеи. Таковы были мелкобуржуазные мечты. А что же было на деле? Грязные забегаловки, бесцеремонные официантки, которые мечут тарелки с подноса на стол, как дискоболы, конкурентки – пьяные фифочки, которые того и гляди начнут приставать к твоему кавалеру… Нет уж, хватит! Ей надоела эта блядская жизнь. Она страшно завидует и Наташке, и Верке – у одной муж инженер, на «москвиче» ездит, у другой художник, за границей уже два раза была. Чем она хуже их? И она искала сильного уверен-

ного пробивного мужчину, ставила на него; но все они, пробивные, ни в грош не ставили ее и, овладев, бросали – кто раньше, кто позже. Мечтательница, она терпела неудачу за неудачей, стала почти что проституткой, и подавленное чувство собственного достоинства прорывалось грубостью, злобой; ей не везло, ее почему-то постоянно объегоривали, ею пользовались; и дошло до того, что она почувствовала инстинктивный страх в душе и усомнилась, не сильные ли и пробивные мужчины тому причиной? А этот… этот внушал смешанные чувства (сострадания и уважения); на первый взгляд, вялый какой-то, щебечет черт знает о чем и боится ее, мямля, прилипчивый, такой же, как она, закупоренный – и все же… Слюнтяй? Хитрюга?! Его ли эта дача? Что он за человек? Кто эта женщина на фотографии? Неуверенный, переменчивый и, одновременно, целеустремленный, он с о в п а л с нею такой гранью, что она почти не сомневалась: этот не бросит ее, попользовавшись и бесповоротно, он ее во всяком случае запомнит, он ей пригодится. Но – и это сбивало с толку – вел он себя с такой обреченностью, так, жалкий, в нее вцепился, что, откажи она ему, он мог решиться на что угодно – на самоубийство, на жестокость; чувствовалось, что этому парню буквально приспичило, уткнулся в тупик и ищет, кто бы его вывел. Нет, она не против, ради бога, но когда он торопливо и, в общем, умело стал обдирать ее, безучастно подумала, что все-таки в нем ошиблась и он подлец; когда же он столько всего в один присест наговорил, так переволновался и так опозорился, – тут-то она и поняла, что драпировки спали, что он мальчишка, сопляк, ничтожество (разглядела за туманом); и не то обидно, не то бесит, что ничтожество, а то, что, наобещав и затуманив, вдруг мгновенно лопнул как мыльный пузырь.

– Пусти, я оденусь, – неприязненно сказала Любочка.

Корепин не упрашивал повременить: бесполезно, ни к чему; он мрачно, ожесточенно раскаивался, казнил себя, что все п р и д у м а л, поторопился, решил, что выйдет и по придумке, без чувства, массированной атакой. «Идиот! – распекал он себя. – Куда ты гонишь, куда спешишь? Что, завтра жизнь кончается? Мордуют тебя все кому не лень, а ты до сих пор ничему не научился». Ему захотелось, чтобы Любочка ушла, и поскорей. Мало того, что осрамился сам – еще и над именем Светланы надругался, той самой, с которой у него все ладится и везде – в быту, в отношениях. Чего он ищет? Зачем раздваивается? Почему так боится свадьбы и бесповоротности, с нею связанной? Почему надо иметь непременно двух женщин, продублировать оба варианта, подстраховаться? Вот точное выражение – подстраховаться: от слова «страх». Надо быть мужчиной, мужиком, нести свой крест и не лезть в дерьмо. Он не презирал себя, но ему хотелось остаться одному, чтобы заняться самобичеванием, проанализировать причины проигрыша. Но странное дело: внутренне остервенился он – и поостыла Любочка. Уже одно то, что он ее не уговаривал, не удерживал (не малодушничал), а, еще недавно пристыженный и, казалось, уничтоженный, замуровался, – уже одно это заставило Любочку переменить первоначальное окончательное решение – уйти, хлопнув дверью. Хлопнуть дверью нетрудно, но будет ли от этого удовлетворение? Он ведь не остановит, вот что обидно. Она меланхолично, но с достоинством поруганной одевалась и уже оправдывала его: Ну, перенапрягся, с кем не бывает, нынче все психи… Лучше всего покурить, пока он очухается.

Она подошла к темному окну и закурила.

Корепин решил, что надо попробовать ее прогнать (сохранить собственное достоинство), хотя где-то в глубинах сознания уже блуждала надежда, что если она останется, все еще можно поправить. Конечно, она груба, но есть что-то необходимое и спасительное в сближении двух людей с подавленными инстинктами. Близости нет и не будет, но необ-

ходимее, чем горькие издевки над собой, нужна победа, выбор на развилке дорог – обеих: по одной идти, а другою, параллельной, дорожить и утешаться. Первый раунд игры закончился, начался второй; исход заведомо известен – ничья, но с обоюдным моральным удовлетворением. Оба чувствовали, что, несмотря на их схожесть, их взаимно притягивает неведомая сила, которой лучше подчиниться. И все же Корепин был зол, как черт. Завернувшись в простыню, он встал, закурил и с вызовом и сарказмом (дескать, убирайся, если хочешь) спросил:

– Ну?..

– Слушай, ты можешь достать бразильский кофе, баночку или две? – спросила Любочка совершенно, но наигранно спокойно, не отходя от окна и не реагируя на враждебный тон.

– Нет, – так же спокойно ответил Корепин, наливая вина себе и Любочке.

– Жаль, – сказала она довольно равнодушно: жаль, что ты не способен достать кофе, жаль, что ты такой жалкий человек.

На языке Корепина вертелся саркастический вопрос: ну что, попробуем еще раз? – но он почувствовал, что если задаст его, то окончательно уронит себя в ее глазах. Самое главное сейчас заключалось в том, чтобы попытаться еще раз преодолеть взаимную чуждость, терпеливо и доброжелательно, не травмируя ни себя, ни ее. Он подошел к Любочке, дружелюбно протянул бокал и хотел было дружески улыбнуться, но она взглянула на него холодно и надменно, возводя новый барьер. И все же, опять без желания, взламывая этот барьер, настырный, настойчивый, жалкий, Корепин снова обнял Любочку, призывая (усилием воли и ума) столь необходимое в эту минуту эротическое воображение – яркую картину победы над слабой женской волей. Увы! Тщетно! Внешне податливая и готовая, Любочка – с ее абсолютно отрешенным, холодным, бесчувственным, как маска, лицом – внутренне н е в е р и л а, не поощряла его, хотя и отдавала себя в полное его распоряжение. Это было какое-то мучительство, неописуемая взаимная страдальческая мука – достучаться, пробиться сквозь затворы, опробовать запасной вариант, тот, в котором оба катастрофически нуждались…

И они не расстались, пока не достигли этого.

Вялый, веселый и пустой, не излучающий ни единого флюида, Корепин равнодушно проводил Любочку, признательную, впавшую в какую-то детскую дурашливую веселость, посадил на электричку и с чувством удовлетворения вернулся на дачу. На следующий день ему снова захотелось, чтобы она приехала, и когда, телепатически улавливая его желание, она в ту же минуту позвонила и спросила, не хочет ли он ее повидать, он, уже внутренне допускавший, что она о нем забыла, ответил утвердительно, с достоинством помешкав. Когда он положил телефонную трубку, Ле Корбюзье ему стал неинтересен.

«Я скотина», – подумал он о себе.

Свадьба Корепина и Светланы состоялась в срок.

©, Алексей ИВИН, автор, 1979, 2007 г.
Алексей ИВИН

Зеленый островок

И вдруг Вьюнов понял, а точнее – чувствуя, что они чего-то ждут от меня, угадал, чего именно.

– А не поехать ли мне с вами? – спросил он.

Они переглянулись и как будто присмирели. Он пережил странное, сложное чувство (амбивалентное, как выразились бы психологи. Отчего, впрочем, не быть чувству с двумя валентностями, если два объекта восприятия?) – власти и боязни, а еще – разведывательное волнение морехода, направившего корабль к зеленому неведомому острову, и угрызения. совести. «Но ведь я и вернуться могу. И вообще – подождет… Подумал он о жене. – Мне нужны свежие впечатления». Он взглянул на своих спутниц: обе сидели смирно, опустив глаза в пол. Хмель дружеской вечеринки, где они познакомились, улетучивался, становилось ясно, что и он, и они деликатнее, тоньше, благороднее, чем казалось при развязном застольном разговоре. И все-таки – он чувствовал это, – они связывали с ним какие-то надежды, и эти надежды нужно было длить, нужно было испытать себя в странствиях и утешить этих одиноких воительниц, чтобы они не грустили. Ему остро захотелось здесь, в полуночном вагоне, где размягченно, точно сонные петухи, дремали поздние гуляки, сострадательно, как обиженных детей, обласкать сестер – сперва подстриженную под мальчика, нервную, бесхитростную Таню, затем умную, замкнутую, коварную Веру, которой он слегка побаивался. Ожило в его душе и томление по свободе, и ожидание, что его застарелая жизнь перейдет в новое качество. И как только он предложил, а они молча согласились, стало понятно, что лучше об этом не заговаривать.

Они поднялись из пустынного мраморного подземелья на уютную улицу, где вился снежок, поймали легкое такси и покатили по Дмитровскому шоссе. Все деньги он спустил там, на вечеринке, и теперь надеялся, что это зыбкое, приятное скольжение, эти птичьи ныряния под автодорожными мостами не обойдутся дороже полутора рублей, но счетчик беспечно тикал под каждым красным светофором в объединенном полумраке такси, покуда оно не подрулило к бесконечно длинному дому. С переднего сиденья он поднял левую руку с зажатой рублевкой, точно голосовал против унизительной бедности, и сестры тотчас догадались (милая черта, женское бескорыстие) – воткнули десятку между его пальцев и, пока он ждал сдачу, гуськом потянулись к заснеженному стеклянному подъезду. Снег пошел гуще, точно вытряхивали порванную пуховую подушку. Пока сестры, обе среднего роста, в меховых опушках, бренчали возле двери брелоком, целясь ключом в замочную скважину, он, нависая над ними, на миг ощутил себя циклопом, загоняющим овец в пещеру. Такое возникло несообразное мифологическое чувство. Он вступил туда с любопытством, в эту крохотную прихожую с узким трюмо, и его не удивила, а только по-домашнему умилила добрая услужливость Тани, которая, согнув узкую спину, вытаскивала из-под гардероба стоптанные шлепанцы для него. Он прошел на чистую кухню, выложенную вишневым кафелем, он ходил среди них изнеженным бездельником, пока они зажигали газ и включали бордовый торшер с вязаным абажуром, он нахваливал опрятность и художественный вкус этой алой кухоньки, потом пошел осматривать единственную комнату – непокрытый раздвижной диван, шкаф, две сиротские застекленные полки с обывательскими книгами и уголок флоры – пересыпанные гравием длинные ящички с кактусами. Он потрогал самый большой кактус, укололся и подумал раздраженно: «Что я с ними с двумя делать-то буду? Вот авантюрист! Давай теперь развлекай их».

Он вернулся на кухню, сел за стол и спросил с вызовом (Таня тоже сидела, подперев щеку кулаком, как любительница абсента на известной картине, а Вера возилась у плиты):

– Ну, что делать будем?

– Сейчас будем чай пить, – ответила Вера, доставая чайные чашки из белого подвесного шкафчика.

– Жаль, что вино там оставили: сейчас бы опохмелились, – сказал он Вере, чувствуя, что Таня тоже хочет, чтобы он с ней заговорил. Он не был подвижным веселым оборотнем, под их перекрестным вниманием подзабыл роль. Усталый, осунувшийся, отрешенный, без пиджака, он упер тощие локти в столешницу и спросил у Тани будничным измаянным тоном: – Значит, так и живете?

– Так и живем, – с готовностью подтвердила она.

– Ну-ну, – сказал он. – Хреново живете. Можно мне закурить?

– Кури. Хоть мужиком запахнет.

Она подвинула ему пепельницу в виде лаптя.

– Вот именно – «запахнет», – иронически поддакнул он и хотел добавить, что если в нем что и осталось от мужика, так это запах, но воздержался. Вместо этого спросил: – Дом-то кооперативный?

– Кооперативный.

– Две сестрицы под окном пряли поздно вечерком. Говорит одна сестрица…

– Мы с ней единоутробные, – сказала Таня. Вера, отстраненная от разговора, поставила на стол три дымящихся чашки и, величественно покачивая полным станом, прошествовала в ванну умываться перед сном. – Кажется, так, когда от разных отцов?.. Мой умер двадцати восьми лет. На целину ездил. Они ведь там в палатках жили, простудился. Завтра годовщина, собираемся съездить на кладбище.

– Рано вставать? – Ему захотелось погладить по мальчишеским вихрам эту любительницу абсента, преданно таращившую на него карие похмельные глаза.

– В семь часов.

– Мы тебе на кухне постелем, не возражаешь? – язвительно и задорно сказала Вера, выходя из ванны, умытая, краснощекая и молодая; под ее злорадным взглядом пожилая Таня покаянно опустила ресницы. – Здесь, правда, здорово поддувает из окна…

– Я могу и на коврике у порога, – сказал он.

– Ты чем-то недоволен? – Вера подсела к ним. Теперь он сидел во главе стола, они по бокам, друг против друга (в оппозиции). Слегка опустив голову, он пощипывал волоски на запястье. Он и не глядя чувствовал, что они смотрят на него: до чего простой, худой и умный парень, все-то он понимает, будто сто лет знакомы. Он задумчиво, как актер перед ответственной репликой, повертел красивую английскую сигаретницу Веры (Таня не курила) и сказал:

– Я всем доволен. Пользуюсь вниманием двух очаровательных женщин, чего же еще?

– Ты кактусы поливала? – спросила Вера, торопливо разрушая наступившую паузу.

– Нет, – ответила Таня.

– Пойду полью, – сказала Вера, царственно отодвигая недопитую чашку.

Еще не удалилась ее жертвенная спина, а он, торопясь восстановить нарушенную доверительную близость, предложил раскрытую ладонь и Таня мягко и признательно опустила сверху свою, легкую, теплую, бедную, и заговорила, а он, закрыв глаза, явственно увидел в католическом полумраке исповедальни под стрельчатым окном себя в плаще и капюшоне и робкую из-под молитвенных складок одежды, узкую ладонь прихожанки и ее земные глаза, верующие во искупление:

– Я ведь замужем была. Он ничего не любил. Он любил только есть и спать. Придет с работы, поужинает и спать, а утром его не добудишься. Единственный сынок у маменьки. Держали меня вместо кухарки, прачки и домработницы. Один раз, на Новый год: ну, думаю, сегодня мой день. А у меня платье было, с вологодскими кружевами, бальное, и нас друзья приглашали в этот вечер, и надо было ехать… А он пришел откуда-то уже поддатый, а его, если выпьет, в сон клонило. Байбак такой, увалень. Ладно, думаю, проспится, еще успеем… а он залег и проснулся уже во втором часу. «Таня, – говорит, – давай ляжем спать: надоело все на свете…» Небритый, рожа опухшая, глазки заплыли, смотрит тюленем и так жалобно, умильно. Ох и озлилась я! Господи, что ж это за мужик! Только бы дрыхнуть, ничего не делать и ничем не интересоваться. Только бы куда-нибудь спрятаться и все забыть. Восемь лет такой жизни! Восемь лет утирать эти противные слюни, слушать это брюзжанье: и завтрак невкусный, и тапочки я куда-то засунула. Полгода телевизор стоял сломанный, так и не сумел в мастерскую свезти. Я ему говорю: «Костя, ты можешь хоть что-нибудь сделать?» – «И не могу, и не хочу, – говорит. – И вообще, оставьте меня все в покое…» Я бы, может, ему все простила, но – детей он не любил. Брезговал. «И так жизнь тяжелая, плюс еще дети…» Можешь себе представить, жизнь ему тяжелая была…

– А тебе все равно надо было родить. Привык бы.

– Ты так считаешь?

– Конечно. Я думаю, вы друг друга не поняли. Просто, понимаешь, нормальна та семья, где жена не навязывает мужу женских представлений о счастье, и наоборот. Конечно, если бы он не был слабаком и меньше нуждался в твоей опеке, он и с ребенком бы быстро поладил. А он, вероятно, только тобой и жил, спасался. Значит, говоришь, матушка подрезала ему крылья? Он чем занимался-то?

– Художник. Да нет, не т а к о й художник, он всякие плакатики рисовал.

– Тем более. Значит, у него целый комплекс развился. Не говорил он тебе, например, что-нибудь вроде того, что деятельны только подлецы и мерзавцы, а добро всегда без кулаков?

– Точно. А как ты угадал?

– Интуиция. Я, может, сам такой был. Во всяком случае, я этот тип людей встречал. Спать – их любимое состояние. И чтоб их не тревожили. Помнишь, как Обломов принимал визитеров? «Не подходи, ты с холода», – говорил…

Вьюнов взял Танину руку, прижал ее к губам, сознавая, что немножко играет, но что этот поцелуй необходим именно сейчас, чтобы ее, разгневанную, против всех мужчин ожесточенную, вернуть к первоначальному задушевному интиму, к легкой обоюдной влюбленности, к надежде, что если не он, то другой… если не в тридцать, то в сорок… только надо верить, искать, ждать…

– Воркуете, голуби? – Вера вошла с порожней кружкой. – А времени два часа, между прочим.

Он тотчас забыл о Тане, встал и ему захотелось виться вокруг Веры, чтобы доказать ей, что она вовсе не на вторых ролях, а вполне равноправна со старшей сестрой, что он и ее понимает и ценит; он даже весьма неловко приобнял ее (а Таня, увидев это, пошла снимать для него матрас с антресолей), но Вера капризно двинула его локтем в бок. И тут он вдруг вспомнил из Гейне: «Стою, как Буриданов друг…» – расхохотался, хохотнул коротко и нервно, и весь интим разрушился, а Таня уже устилала матрас между алой стенкой и газовой плитой, безыскусно извиняясь, что бледно-розовая, в мелких морщинках простыня не первой свежести. Он понимал, что это отставка, что гордая, своенравная Вера, которой он не зря побаивался и не сумел нейтрализовать, бесцеремонно разрушила его исповеднические чары, и внутренне посмеивался от души над собой, но в этом подтрунивании росло и поднималось желание исследовать этот зеленый остров, впиться, впиявиться здесь, перепутать сестринские узы и причаститься незнакомой, странной жизни двух воинственных женщин.

– Мне здесь холодно будет, – громко, чуть юродствуя, пожаловался он. – Что это за отопительная батарея – курам на смех.

– Ничего, – отрезала Вера. – Холодно, зато не оводно.

– Как это?

– Ну, то есть мухи не кусают.

– Кусают! – Он капризно топнул ногой. – Две большие жирные мухи!

– Ты сдачу получил? – Вера спрашивала холодно и зло. – У таксиста, – уточнила она, видя, что он недоумевает.

– В передней на трюмо, – буркнул он. «Нужна мне ваша сдача…»

– По-моему, если он возьмет еще двушник, мы не обеднеем, как ты считаешь?

– Да ну тебя, Верка! Ты уж скажешь тоже… – Таня все еще поправляла матрас, тщательнее, чем необходимо, разглаживала.

– Если идти через Останкино, в четыре я буду уже дома, – сказал он деловито и подумал: «Все равно ты жирная, жирная!»

– Спокойной ночи!

Даже в том, с каким сдержанным бешенством Вера прикрыла за собой кухонную дверь, чувствовалось, что она разъярена до предела.

– Ну? – спросил он надменно, давая понять, что готов одеваться и уходить.

– Дуги гну! Зачем ты ее обидел? Она только чуть-чуть меня потолще. – Таня смотрела добродушно и укоризненно.

– А черт вас разберет! Муж у тебя был ласковое теля, а ты все равно от него сбежала.

– Это я, а это – она. Думать надо…

– И вообще, я бы сейчас чего-нибудь кисленького выпил – клюквенного морсу, например…

– Подожди, сейчас приду…

Таня скрылась за дверью. Он прильнул лбом к холодному оконному стеклу. «Придурок, ведешь себя как капризный султан в гареме. Ждет, небось, Пенелопа-то твоя, беспокоится, а ты здесь пристал, – подумал он. – Ничего, пусть. Что, уж мне и попутешествовать нельзя, что ли? Каждый день одно и то же: служба, семья, служба, семья… Тридцать лет! Где бы уже достигнуть намеченного и остепениться, а тут еще только начинаешь и конца не видно».

Таня вернулась пасмурная, изнеможенно села на стул, помолчала.

– Ну что, утешила? – спросил он.

– Да ну ее, вечно мне настроение испортит. Теперь уж я оказалась виновата, что ты сюда приехал. Измучилась я с ней, ей-богу.

– Великомученица ты моя. – Он насмешливо и ласково погладил ее по голове. Эта насмешка и ласка объяснялись тем, что Таня была попроще, побитее жизнью, если можно так выразиться, без претензий, и Вьюнову с ней тоже было легко. Не глумился – жалел и чуть-чуть оборонялся от ее бракосочетательных намерений. – Ты славная женщина и именно великомученица, но… Вот слушай, я расскажу тебе об одном происшествии. Дело было в Древней Греции. Там островов много, и вот на одном острове проживала нимфа, которая любила превращать людей в животных. Однажды пришвартовался к этому острову

один мореплаватель, и пока он лазил туда-сюда по скалам, эта нимфа, волшебница эта всю его команду превратила в свиней. Может, я ошибаюсь, но что-то в тебе от нее есть. Что ты сделала с Костей? Ведь ты натуральным образом превратила его в борова, запрезирала и оставила. А на подходе другой, с первого взгляда такой же мягкий, податливый – ему только у корытца стоять да хрюкать…

– Ты какой-то странный, я это сразу заметила. Ты случайно не того… нет?

– Я нормальный мужик. Мне тридцать лет. И только сегодня я кое-что дотумкал. Это я насчет того, как жить дальше. Я еще, может, птицу Рух не видел, тебе понятно? А вообще-то ты права: людей, которые «не того», на этом свете нет.

Таня следила за его высокомерным апломбом удивленно, не без любопытства: тоже побитый, драпируется.

– Ты, наверно, здорово начитан? – спросила она наконец с легкой завистью и покорностью в голосе. – Слушай, у нас клюквы нет, зато есть брусника. Это еще лучше, с песочком, хочешь?

– Хочу.

Ему вдруг захотелось вернуться домой. Он развлекся, хлебнул свежих впечатлений, чего же еще? Все женщины одинаковы. Его Пенелопа, если сейчас, через семь лет супружеской жизни развестись с ней, так же, как Таня, будет рада любому случайному охламону, встреченному на вечеринке, – лишь бы посидеть с ним на кухне обнявшись. Какая уж там любовь, если не только в семье, но и во всем этом странном мире все между собой передрались и перессорились. Наверно, любовь – это чаемое, желанное, потому о ней так много и говорят; так вот: в том самом раю, где некуда стремиться и нечего достигать, мы и полюбим, а пока что слишком много неотложных дел…

Подумал и усмехнулся: деловой! Все угрожающие позы принимаешь? Ах, как страшны совиные глаза на крыльях бабочки…

– У тебя чувства вины перед ним нет? – спросил он.

– Перед кем?

– Перед Костей.

– Он мне всю жизнь отравил. Какая может быть вина? Я ведь его чуть ли не с ложечки кормила.

– Из корытца, ты хочешь сказать?

– Да ну тебя, только бы хохмить.

– А замуж снова не хочется?

– Мне и так хорошо.

– А ребеночек? – Вьюнов задирался, комплексовал перед мудрой доброжелательностью и спокойствием Тани. – Лелеять его, оберегать, сопельки вытирать, чтобы он потом до тридцати лет с тебя деньги взимал, а? По-моему, это блаженство, как ты считаешь? Следить, чтобы он штанишки в печке не испачкал, а? А вот идеальный вариант: он в садик пошел, а ты в тот же садик воспитателем, – ну, чтобы он, например, палец дверью не прищемил. Дети, они ведь такие, за ними нужен глаз да глаз. Дальше: он, значит, в школу пошел, а ты к нему классным руководителем, а? Он в институт, а ты в тот же институт проректором по учебной части. Он, допустим, лаборантом в НИИ, а ты туда же директором. Понимаешь, воспитание – процесс непрерывный. Он может запросто оступиться, ошибиться, а ты ему поможешь, у тебя жизненный опыт, знания… А что в коленках дрожь, так это пустяки. Я считаю, в природе очень многое неразумно устроено. Медведица, например, медвежат как купает? Она их за шиворот – и в воду. А ведь так нельзя, они могут простудиться…

– Не понимаю твоей иронии. Что же плохого в том, что мать заботится о ребенке? У тебя у самого-то дети есть?

– У меня все есть.

– Ничего, если я не стану процеживать?

– Ничего. Как ты думаешь, она спит?

– Она теперь шиш заснет, знаю я ее. Она ведь думала, что раз ты с ней танцевал… ну, ты меня понимаешь? Да ты не беспокойся, переживет. Ты знаешь, такое чувство… Какое-то уютное чувство, что ты здесь… Между прочим, квартира моя. Она только ее разукрасила, расписала, а так все остальное мое. Она с матерью и отчимом жила до последнего времени, там и прописана. – Таня разлила напиток по чашкам, села и грустно уставилась на Вьюнова. – Два часа, а спать нисколечко не хочется. Ты думаешь, женщине нужно загнать мужчину под каблук? А, по-моему, ей ласка нужна, внимание, только и всего. Почему-то мужчины думают, что мы прибираем их к рукам. А мне, например, это не нужно, мне приятно слушаться, готовить для него. Он бы, например, ушел на работу, а я его жду… А так… сижу иногда и думаю: зачем? Зачем мне все это, стены эти аляповатые? Во Владимирской области в деревне у меня родственники живут, дом, большой, с наличниками… И там есть старый овин с воробьями… С кем-нибудь бы туда поехать и жить там…

Таня сидела лицом к окну и не видела того, что увидел он. А он, слушая ее грустный лепет, увидел, как в коридор вышла Вера, бесшумно, в одной ночной сорочке; он опустил глаза, будто не заметил, куда она крадется, но она прошла мимо туалетной двери, и тут Таня тоже обернулась.

– Ты чего? – изумилась она.

– Уходи. – Он понял, что это относится к нему. Вера стояла прямо, серая, цвета промокашки, со сжатыми губами. Он медленно встал из-за стола. – Скажи ему, чтобы он уходил. Уходи сейчас же!

– Да ты что, Верка? – Таня растерянно приподнялась.

– Ты думаешь, он на тебе женится? – Вера кричала. – Ты что, не видишь, что он жулик. Жулик! Проходимец! Ездит жизнь изучает, любит пикантные ситуации. Убирайся от нас сейчас же, слышишь, ты!

– Да успокойся ты…

– Втюрилась, да? Втюрилась? В этого?.. У него же на роже написано, кто он такой. Уходи от нас! Зачем ты приехал, зачем? Кто тебя звал? Урод! От-пус-ти меня! Не прикасайся ко мне!

– Я, пожалуй, пойду…

– Нет! – на этот раз заорала Таня. – Ты останешься, понял? А ты прекрати истерику! Ты слышишь меня? Куда он поедет в три часа ночи?

– Скажи, что ты не выйдешь за него… – Вера вдруг опустилась на стул и заплакала. – Скажи, ну скажи!.. Скажи, что не выйдешь замуж, ни за кого. Ну, пожалуйста…

– Ну, так я пошел? – Вьюнов почувствовал себя не совсем хорошо, даже совсем нехорошо: открылась, прояснилась некая бездна собственного недостойного фанфаронства.

– Глупая… Господи, ну что ты с собой делаешь, зачем? Успокойся. Не выйду я замуж, обещаю тебе. Точно тебе говорю. Куда я без тебя… Старая я уже, старенькая… ну, перестань реветь, слышишь? Ты слышишь меня?

Вьюнов прокрался в прихожую, торопясь и заторможенно обулся, стараясь не шуметь и не слушать, о чем плачут сестры, оделся и осторожно, как вор. Снял дверную цепочку. Не помнил, прикрыл ли за собой дверь. Сбежал по лестнице. В подъезде остановился, прислушался. Усмехнулся не без грусти и стыда: провокатор! Такие чудесные женщины – что, ласковых слов не нашлось, скупердяй?

Падал снег. Чернели безмолвные окна.

Он долго стоял, цепенея среди ночной тишины. Потом вдруг почувствовал, что продрог. Пересекая двор, знал, что на шестом этаже светится их окно, и надеялся, что, может быть, прильнув к морозному стеклу, они смотрят ему вслед.

«Куда теперь? – подумал он, нахохленный, один среди прямоугольных стен. – Куда теперь, отважный победитель, охотник за двумя зайцами, сердцеед? Под крыло к своей Пенелопе? Ведь она ждет, не смыкая глаз, – все ткет и распускает, ткет и распускает! А птицу Рух ты так и не увидел. Неужели и вправду она так велика, что застилает солнце, а когда летит, то поднимается буря?»

©, ИВИН А.Н., автор, 1979, 2010 г.
Рассказ опубликован в журнале «Наша улица»
Алексей ИВИН

Канун творения накануне Пасхи

К сожалению, Пушкин всех нас обскакал: пусть бегло, но точно выразил основные состояния души. Выходит, что я просто хочу прокомментировать его стихотворение «Пока не требует поэта…» Во всяком случае, оно вспоминается сейчас, когда руки тянутся к перу, перо – к бумаге. Одно утешение: что новое – это хорошо забытое старое; хотелось бы именно забыть, что уже написано по поводу того, ч т о хочу написать я. Мне в известном смысле наплевать, что Пушкин и другие гении были и что они по этому поводу написали; я, читая, достаточно поумилялся от совпадения их мыслей со своими и теперь хочу, чтобы мой читатель умилялся от совпадения моих мыслей с его, от того, как точно и виртуозно, по-первооткрывательски я их выразил.

Ради денег (я человек бедный, из тех, которые ценой больших усилий стремятся хотя бы в ы г л я д е т ь и не отстать), так вот: ради заработка я подрядился писать аннотации на только что вышедшие книги по экологии и поэтому вынужден сидеть в библиотеке (в ГБЛ, в зале №3). И вот я там сегодня сидел, в этом огромном зале, залитом апрельским заманчивым солнцем, пялился на золотые зодиакальные часы, на белые (гипсовые или мраморные?) бюсты ученых мужей, косился на соседку слева, шоколадную представительницу Африки, склоненную над толстенной книгой, и думал: а какого черта я здесь делаю? Была тоже грешная мысль, каковы африканские представительницы в постели, но, не умея претворить ее в реальность (уж очень строга и учена тишина в зале, витающая над кропотливыми работниками ума), я ее быстро сублимировал, так что она приняла следующий вид: а ведь эта шоколадка тоже умрет. Это «тоже» свидетельствует, что я и о себе прежде подумал, логически развивая мысль: а какого черта я здесь делаю? Тут я пропустил через мозг несколько неодобрительных мыслей насчет своих работодателей, которые за жалкие гроши покупают время, а значит, жизнь и душу свободного человека, а это, как хотите, унижение. Словом, душевно беспокоился и был недоволен собой в связи с тем, что, может быть, скоро умру, перестану быть, кончусь. Парень с другими, чем у меня, мозгами и принципами, взбреди ему это в голову, захотел бы жить и чувствовать, оправдав щедрость этого апрельского солнца и весенние призывы природы, организовал бы, под пустячным предлогом, встречу с африканской представительницей, – как говорится, было бы что вспомнить на старости лет. Мои же мозги устроены так, что из-под давления обстоятельств (а самое из них гнетущее – смерть) я способен улизнуть и освободиться, только перерабатывая их, преодолевая. Творя из полученных впечатлений. Причем нельзя сказать, что их у меня много, этих впечатлений, чтобы с порога отметать возможность вторжения африканской представительницы; и тем не менее…

Какой-то я заизолированный.

Злой, что так бедна и печальна личная жизнь, смертельной завистью завидуя всем молодым аспирантам и аспиранткам (хорошо одеты, пишут диссертации, лекции, небось, читают, такие умницы, судя по тому, как картинно они на лестницах и переходах стоят-переговариваются и умно финансовую политику правительства обсуждают: только что повысили розничные цены, апрель 1991 года), в прогрессирующем с каждой минутой душевном раздрае и неприкаянности вышел на улицу, на еще более обширное, по сравнению с читальным залом, пространство, обращенное к Манежной площади, вдохнул теплый, талый и весьма загазованный воздух (сиюминутно почерпнутые экологические знания) – и закурил. И мне захотелось: 1) бросить курить; 2) вставить зубы; 3) прожить хотя бы 100 лет; 4) написать

роман под названием «Век чистогана», социально-психологическую драму наподобие бальзаковских, в которой бы, как в капле воды – ее окрестности, отразилось время капитализации и денежного расчета, последовавшее за временем идеологической лжи и диктата. «Пора переходить на летнюю обувь», – потея ногами в теплых башмаках, подумал я и вспомнил, что кроссовки порвались и летние ботинки тоже просили каши. «Я их всех умою», – подумал не без злорадства о тех, кто, с упоением разглагольствуя о прелестях капитализации и приватизации, еще не понимает, в какие тиски способен загнать человека рубль и предприниматель (а ботинки просят каши, и сам я к предпринимательству не способен). Подумано было так, с таким ехидством, как если бы роман «Век чистогана» был уже готов.

Достоверность требует сказать, что эти мысли приходили на фоне с о с т о я н и я – смуты, беспокойства, физического к себе отвращения: ноги потели, воротник рубашки был грязен и тер. И еще – какого-то сладостного нездоровья, приближающегося как бы заболевания, сходного с запоем (никогда не страдал). Казалось, столь несовершенного, потливого, некрасивого, гадкого человека еще не носила земля. На людей в метро я старался не смотреть, но место толстой старухе с двумя раздутыми хозяйственными сумками, которая, укрепясь ногами, как матрос на палубе, качалась всякий раз, как поезд трогал или тормозил, я все же не уступил: а пошла бы ты в задницу, карга, и не смотри на меня так грозно, я, может, инвалид и имею право сидеть. Не исключено, что напротив сидевшая дама в дубленке и с укладкой, от которой веяло парикмахерскими услугами, думала о широколобом, внушительном и еще не старом визави весьма одобрительно (поглядывала), но это уж к вопросу о том, что наши самооценки не всегда совпадают с оценками других людей. Нет, возможности я отметал. Я царь, живу один, дорогою свободной… И так далее. Важнее всего сейчас было остаться одному в квартире, очиститься, приготовиться к «священной жертве», которую потребовал Аполлон, сберечь, взрастить, взлелеять это блаженное с о с т о я н и е, дабы преодолеть смертное и несчастливое само-чувствие, сейчас-чувствие, собственную растерянность в недрах московского метро, – не расплескать.

Домой вошел уже как бы на сносях, готовый родить.

Невзрачные пыльные окна, подоконники, стол, телевизор, пыльные, белые, в неопрятных пятнах шторы на окнах (в минуту рассеянности вытирал руки) – мое тесное жилище усугубило внутреннюю смуту и роды несколько задержало. Я еще раз с готовностью ощутил себя несчастным, отключил телефон, и, очень понимая мусорщиков, дворников, уборщиков, едва переобувшись и умывшись, чтобы хоть эти два несовершенства (несоответствия акту Творения) перестали пятнать захламленную, ранимую, израненную душу, принялся за уборку. Нетерпение усиливалось, зуд томил, но я его контролировал, сдерживал, поругивая себя – не без самодовольства – графоманом: «О чем писать-то будешь? На то не наша воля? Он сквозь магический кристалл еще не ясно различал „Век чистогана“…» Важно было избежать резких движений, чтобы – опять-таки – не расплескать, чтобы удовольствие от мокрого очищения квартиры дополняло и стимулировало будущее удовольствие сочинительства, которого (удовольствия и запасов смутной энергии) хватало, пожалуй, лишь на небольшой рассказ или стихотворение. Психиатры называют это идеомоторным возбуждением, но я-то знал, что мне надо его беречь и лелеять, потому как неутомимой, здоровой, дневной работоспособности пахаря и коннозаводчика Льва Толстого мне, неврастеничному горожанину, не дано: ни усадьбы, ни крестьян, ни славы, ни Софьи Андреевны, так что выпасть из суеты и побыть богоравным свободным художником я смогу, вероятно, лишь этим вечером. Если бы все это плюс железобетонное здоровье я имел, я бы тоже, не опасаясь упреков в графомании (мании графа) каждое утро в кабинете громоздил на чистый лист устра-

шающие синтаксические конструкции, поворачивал бы их так и этак, неуклюже эпически, как плиты в пирамиде, производя тем самым на будущего читателя впечатление здоровой мощи и здоровой чувственности, ломал бы эти конструкции, перемысливал, переписывал сцену за сценой, чтобы уложить покрупнее да порельефнее. Я бы, может, и Шекспира считал дураком на том основании (а я его, кстати, не переношу за велеречивость и барочные ухищрения), итак: дураком на основании состязательности, а себя умником за то, что так удачно преображаю мир в слове, творю его, успешно выкарабкиваюсь из всякий раз безысходной ситуации с л е д у ю щ е й ф р а з ы. Да ведь вот нет же устойчивых издательских связей, нет удачливости…

А ведь может быть, что мои пени и жалобы в адрес Пушкина и Гоголя и впрямь смешны, беспочвенны: если бы да кабы. Во всяком случае, нагулявшись за плугом или по болдинским лесам, они имели вдохновение, я же – лишь идеомоторное возбуждение. Что это так – думал под душем. Горячая, потом холодная вода, пар, грубая мочалка произвели должное термостатическое воздействие на организм и, главным образом, на разгоряченную нездоровым соперничеством голову. Я досуха вытерся полотенцем, сменил постельное белье, босиком с удовольствием прохаживаясь по чистому полу и подумывая, а имеет ли смысл выплескивать на бумагу то, что по глупости считаю вдохновением и что на поверку, под контрастным душем, оказывается в компетенции участкового психиатра. Тут уж, кстати, вспомнился и Поприщин, герой (и создатель которого) конституционно близки многим русским, вышедшим из шинели. И автору тоже.

Вот и Автор появился, вытесняет это изначально неудачное «я»: милое дело, вползаем в эпику. В джинсах и в чистой шелковой рубашке в голубой горошек. Благоухающий шампунем и немецким мылом. Причесанный. Почти уже умиротворенный. Вот такой он, Автор. Он садится за стол и пишет первую главу, в которой нудно говорит о психологии литературного творчества, модной заразе от Борхеса и психоаналитиков, и в ней нет никакого сюжетного движения. И будет ли продолжение?.. А пока что ясно, что «я», а также Автор и герой в этом эскизе – библиографы, что они (все трое) пописывают, чтобы быть ближе к автору, и что дело происходит в апреле накануне Пасхи.

©, Алексей ИВИН, автор, 1994, 2007 г.
Алексей ИВИН

Каскадер, или У нас с тобой ничего не получится

Этот парень сидел напротив и лупил на нее зенки. В открытую. Не в силах вынести его дерзкого, пытливого и высокомерного взгляда, Анжелика разнервничалась и вышла в тамбур. Как гончая по следу, Илья Сегорев устремился за ней.

За прокопченными решетчатыми окнами мелькали телеграфные столбы, будки, деревья, кроны которых золотились ранним солнцем, росистые поляны, над которыми курился тихий белесый туман, мелководные речки в зарослях ивняка. Поезд мерно покачивался, гремел, лязгал. Было утро.

«Уж слишком шумно, – подумал Сегорев. – Не та обстановка. Придется орать, а когда орешь, никаких полутонов не блюдешь, никакой ласковости. Базар получится, а не разговор». Он обстоятельно закурил, окутался дымом и с нарочитой непринужденностью засунул руку в карман: он был немного актер, игрок, жуир. Анжелика взглянула на него недоброжелательно, но не уходила: хороший признак, благоприятный. Как столичный ловелас (пошла литературная ассоциация), очутившийся в дилижансе рядом с хорошенькой незнакомкой, Сегорев небрежно, преувеличенно безразлично и вместе с тем заметно ерничая, – на случай, если с ним попросту не захотят разговаривать, – произнес:

– Можно вас спросить, куда вы едете?

Хотел еще добавить: «сударыня», но воздержался: перебор, литературщина.

– Никуда.

Запираться было, конечно, глупо, но голос у нее добрый, без жеманства и грубости. Красива, но не вульгарна.

– Не может быть, – сказал он покладисто. – Все обязательно куда-нибудь едут. Так куда же вы едете?

Ответа не последовало; Анжелика отвернулась и демонстративно залюбовалась тонкими, тихими, влажно поникшими березами.

Это не ломанье, это, скорее, от застенчивости, от неумения себя преподнести. Зря он начал так прямо в лоб: куда, куда? Надо болтать и лапшу на уши вешать – разговорится. И еще: дать ей понять, что нравится. Чем проще, тем лучше.

– Я вам подозрителен: всё на вас пялился… А знаете почему? У вас лицо как хорошая картина: глаз не оторвешь. Если бы вы не вышли, я бы так и промолчал всю дорогу, потому что там этот старик сидит, а я при посторонних стесняюсь. Вы, может, принимаете меня за проходимца? Нет, просто вы мне понравились чем-то, вот и все. И вообще, я вполне порядочный человек, чтобы поболтать со мной в дороге.

Самоед, жалкий самоед. Хрен ли в самооплевывании. А что, сразу ширинку расстегивать?

– Афишируете себя? – ввернула Анжелика.

Колючая, однако, девочка. То есть просто заноза. Но опять-таки без гонору и фанаберии, с достоинством. Вероятно, есть поклонники.

– Ну почему же афиширую? – счел он нужным обидеться. – Почему бы и не поболтать от скуки? И дело даже не в скуке; я ведь сказал: нравитесь вы мне. А я человек привязчивый. Я почему спросил-то, куда вы едете: я, может, вместе с вами выйду. Мне все равно. Я, между прочим, с больших заработков еду: целлюлозно-бумажный комбинат строил, а живу далеко отсюда, на Украине, на Житомирщине, и ехать мне туда в общем-то незачем, нечего мне там делать. Я еще пока не решил, где мне обосноваться. Сто путей передо мной, сто дорог. Да и не столь важно где, главное – с кем. Понимаете?

– Понимаю. Еще немного, и вы объяснитесь в любви. Много денег-то везете?

– Миллион!

– Ах, какой вы богач! Может, мне принять ваше предложение? Вместе и выйдем, а? На первой же станции. Славно заживем.

– Не люблю, когда надо мной подтрунивают, – сказал Сегорев. – О деньгах я просто так упомянул, чтобы вы не думали, что я вас грабить собираюсь. Отчего вы такая язвительная?

– А отчего вы такой настойчивый – оттого я и язвительная. Не люблю дорожных знакомств: ни к чему не ведут. Встретились люди, поболтали, разбежались. А почему это вы говорите, что вам все равно где выйти? Цыган или «химик»?

– Похож? По-моему, вполне интеллигентный вид. Или это, по-вашему, опять афишировать себя? А все равно где выйти потому, что домой возвращаться не хочу. Домой возврата нет, как сказал один штатовский графоман. Хочу жить самостоятельно, а не под крылышком у родителей. Самое время начинать.

– Выходит, чтобы начать, вам не хватает лишь подруги жизни?

– Выходит, так.

– Боюсь, что я для этой роли не гожусь. Кстати, как вас зовут?

И совсем некстати. Просто ты на мои закидоны клюнула.

Они познакомились. Любил Сегорев волновать кровь. Не то чтобы он был сердцеед, напротив – иногда робел донельзя, и робость его проистекала от гордости и независимости: ценил душевную независимость. Возвращался он вовсе не с целлюлозно-бумажного комбината, а из стройотряда, и не в Житомир, а в Логатов; приврал же неизвестно почему. Это дело психоаналитика – разбираться, почему мы врем и какие у нас в мозгу запреты. Анжелика ему и впрямь понравилась, хотя и не настолько, чтобы ради нее пожертвовать душевной независимостью. Но она была очень красива, а он был исключительно самолюбив, и в незатейливом разговоре с первых фраз оба почувствовали, что друг друга стоят. Так что когда он говорил, что готов выйти вместе с ней, а она спрашивала насчет подруги жизни, они были

искренни и друг друга испытывали. И вскоре стало ясно, что им было бы жаль расставаться, не продлив эту дорожную встречу: в жизни так много скуки и пустого бессодержательного времени!

– А о том, что я замужем, вы не подумали?

Ага, уже теплее. Какая же из Евиных дочерей не умеет себя преподносить. Какая не любит, чтобы домогались через препятствия.

– Вы слишком молоды.

Нет, он не представлял ее замужней: у замужних, как правило, озабоченный вид и почти всегда дурное настроение. За что борются, на то и напарываются. Анжелика же цвела, как роза, обрызганная росой. Обрызганная, пожалуй, многосмысленное словцо. И пошлое. Но жаль, нет повода этот комплимент ей отвесить. Он с наслаждением смотрел в ее ясные глаза, и ему хотелось ее поцеловать. Анжелика чувствовала, какое желание вызывает: была оживлена, возбуждена разговором. Женщины всегда это чувствуют. То есть их просто начинает лихорадить. Биополе. Обмен генетической и прочей информацией. Но не с каждой дело доходит до. Важно изготовить отмычку и узнать шифр. Но пока суд да дело, успеваешь понять, что сейф пуст. Или в нем ничего ценного.

Анжелика возвращалась из отпуска, который провела в Кочерыгине, у матери; работала она в Логатове кружевницей; в Логатове у нее поклонник, восторженный добрый юноша, который ждет ее, уверенный, что они поженятся.

– Настолько все серьезно?

Здесь надобно сказать, что Сегорев уважал других людей как других, на него не похожих, и их тайны. Но н е с в о б о д н ы е люди ему становились в определенной мере неинтересны. Скучны. Прекрасных же и свободных женщин (от суеты, забот, поисков женишка) он за свою недолгую жизнь не встречал; говорят, таковые водились в Древней Греции – гетеры.

Анжелика уловила перемену в его настроении, почувствовала, что допустила какой-то промах, забеспокоилась. Она как-то сразу и очень его зауважала – за сверхъестественную простоту и почти надменность. И разумеется, сказала, что нет – несерьезно. Утаила, что они с Толиком уже подали заявление в загс и кольцами обзавелись. В самом деле, зачем Илье знать о таких пустяках. Гораздо важнее другое: он что, всерьез решил выйти в Логатове?

– Да.

– Не пожалеете?

– Я пожалел бы, если бы простился с вами здесь, – сказал Сегорев.

Он уже разочаровывался. Без поцелуев, без обладания. Заметил, что понравился, этого было достаточно. Не так все просто в этих делах, как некоторые хотели бы думать. Важна, как ни странно, и такая вещь, как сопротивление. Надо быть идиотом, чтобы сверлить торф алмазным буром. Он был вообще странный человек, Илья Сегорев. Собранный, жесткий, подчеркнуто вежливый. Такие часто всплывают наверх, если знают, чего хотят. Докторскую

диссертацию по биомеханике он напишет впоследствии; пока же его очень заботили женщины. Двадцать два года, а любви как не было, так и нет. И еще: его тянуло на Гавайские острова. Похожа, она была там, его суженая, среди гавайских бездельников, звала. И ее зов, ее биоволны распространялись с юго-запада планеты на северо-восток, прямехонько в Логатов. Но он об этом не знал. И в кармане было пустовато, чтобы поехать.

В тамбур вышел сонный старичок из их купе, тактично, втихомолку покурил и ушел. «Специально, чтобы помешать нам целоваться, старый пень», – подумал Сегорев.

– Мне его жаль, – сказала Анжелика. – Его уже никто не любит…

Она была добрая и верила в любовь с первого взгляда. Открыла сумочку и рылась в своих безделушках, скрывала смущение. Ей было хорошо и тревожно с Сегоревым. Он был как монолитная стена. Монолитной стене хотелось в сортир по-маленькому.

Вечером того же дня Сегорев стоял перед зеркалом, примерял галстук и рассуждал вслух: любил декламировать всякий вздор, который приходил в голову. Он был трепач, при всем прочем.

– Жизнь – это борьба. – Он театрально раскланялся. Он любил поговорить с собой, потому что других собеседников пока что не находилось. – И любовь – это борьба. Борьба двух интеллектов: коварного женского и могучего мужского. – Он так не думал, он просто молол всякую чепуху. Приподнятое, чуть взвинченное расположение духа. Двадцать два года, такой возраст. – Итак, я готов. Осанка херувима, стан молодого тополя и поступь прекрасного иноходца. Я во всеоружии, готовый пленять направо и налево! Браво, Илья, брависсимо, тщеславный ты человек!

Сегорев спустился по лестнице и вышел на улицу. Приступ бравады продолжался и там. Не будь Анжелики, что бы он делал. Анжелика, лик ангела, ангельский лик. Итак, вперед форсированными темпами. Форсистый говорят про щеголя. Не забыть соврать, что он корреспондент. Побольше лапши. Если за показухой она не различит, что он свободен, прежде всего, и независим, как ветер, грош ей цена. Ты для себя лишь хочешь воли. Денег хватит еще надолго, если о цене. Мы славно поработали и славно покутим. Наверно, это снобизм. Жизнь прекрасна! Наврал про Житомир, ври и про гостиницу. Символическая семантика: жито плюс мир. А что, если она не придет? Этого достаточно, чтобы он и впрямь влюбился. Но есть надежда, что она не будет с ним столь жестока; она мчится на свидание быстрее, чем он. Нарциссизм: загляделся в ручеек и сам в себя влюбился. Автомедон. Автоэрот. Потребительское отношение к женщине. Всегда можно навесить ярлык, а как спастись от одиночества? Молод, молод, в животе чертовский голод. Однако не рано ли он притащился? Еще целых пять минут. Зайти в магазин: оттуда видно, как она подойдет. Мол, покупал сигареты, а что такое? Боишься женщин, милый друг, а надо бы ухаживать, терпеливо, настойчиво. Иначе холостячество. Мы ответственны за тех, кого приручили. Антон из святого Экзюпери. Он же летчик, мужик, а я в самолете блюю, как отравившаяся кошка.

Сегорев направился к магазину. Магазин «Продукты», сразу за Горбатым мостом.

Вскоре показалась и Анжелика. Она шла поспешными шагами: опаздывала. Довольный маневром, Сегорев покинул наблюдательный пункт.

– Здравствуй. Рад тебя видеть, – искренне сказал он.

– Здравствуй. Пойдем.

Она взяла его за руку. Они направились по тротуару, обсаженному кленами, вдоль берега Серебрянки. Анжелика была сильно не в духе.

– Я был в духе в день воскресный, – ляпнул Сегорев, выдергивая одну мысль из потока. Поток был следующий: Иоанн на Подносе. На подносе и на Патмосе – это один и тот же или разные?

Анжелика предчувствовала, что у нее с Сегоревым все равно ничего не выйдет. «Мы оба гордые», – думала она. А поскольку она была не в духе, то и прошлась насчет его костюма и франтоватого вида весьма неодобрительно. Другая бы порадовалась, а она – нет. Почти супружеские отношения. Тем более что у одного из них прямая установка на борьбу.

– Я думал, тебе понравится. А если я тоже заору? Я, например, хочу знать, что ты Толику сказала. Он у меня как бельмо на глазу, – сказал Сегорев.

Насчет бельма он преувеличивал. К ее избраннику он никак не относился. Было очень немного вещей и явлений, к которым он как-нибудь относился: в нем рано чувства охладели. Случалось, он был в тягость даже самому себе.

– Не много ли ты хочешь сразу от меня? Он по крайней мере в Логатове живет…

– Я тоже в Логатове живу. На Западной улице. Я тебя обманул, – равнодушно сознался Сегорев.

– Зачем?

– Да так как-то… С языка сорвалось, а потом уже понесло, остановиться не мог. За мной это водится. Я фанфарон. Ну, так что с Толиком-то?..

– Что с Толиком? Ты какой-то странный, Илья: сразу взял меня в оборот, сразу навалился… Ну, что с Толиком… Прибежал сегодня, узнал, что я приехала. Видел бы ты его: он был на седьмом небе. Мне стало жаль его. Он в общем хороший человек, с ним можно безмятежно прожить. Он боготворит меня, а что мне еще нужно? Да и кто ты такой, чтобы ради тебя ссориться с ним. В общем, я не сказала ему ничего. Мне было жаль его. Он так и ушел. Но потом я подумала, что надо бы ему все-таки сказать, нечестно обманывать человека. Позвонила и выложила все начистоту. Он перепугался, но, кажется, принял все за дурную шутку. Сейчас наверняка бродит у подъезда, ждет…

– И сколько же ты с ним была знакома?

– Три года.

– Дела-а, – протянул Сегорев. – Ну что ж, венчайтесь. Покладистый муж – находка для женщины.

Пораженец. За час разрушил то, что создавалось три года, а все равно пораженец.

– Я еще не думаю выходить замуж…

Сказать ей про кольцо или не стоит?

– А разве я что-нибудь по этому поводу спрашивал? Однако обручальное кольцо в твоей сумочке я видел. Когда целовались в тамбуре и ты доставала носовой платок, чтобы сопельки утереть. Я не грубо выражаюсь? Мороженое хочешь? – Он подошел к мороженщице, купил эскимо и подал Анжелике, которая подавленно молчала. «Жалкая, – подумал он. – Все они жалкие засранки, трусихи. Господи, да разве я не носил бы ее на руках, если бы…» Но план уже созрел, и Сегорев действовал решительно, зло и грубо: если нет отмычки и не знаешь шифра, лучше взорвать сейф. – Извини, – сказал он. – Мне надо позвонить. – Он вошел в телефонную трубку, набрал номер и, не заботясь (точнее – именно заботясь), что Анжелика слышит, спросил: – Алло, Лена? Это я. Да, уже вернулся. С большими деньгами. Встретиться хочешь? Прямо сейчас. Жду через четверть часа возле почтамта. Нет, того, что возле вокзала. Ну, до встречи.

Разумеется, никакой Лены не было: просто городил что попало в ответ на длинные гудки неизвестного абонента.

– У нас с тобой ничего не получится, – сказал он, повернувшись к Анжелике. – Мы друг друга дурачим. Обмишуливаем.

Своевольный сумасшедший, страх движет твоими поступками, подумал он. Что может быть прекраснее женского тела, детишек карапузов и совместного ужина? Свобода?

– Так что прощай! – сказал он.

Анжелика смотрела на него широко раскрытыми глазами, с изумлением и страхом. Так смотрят на шпагоглотателя. Слезы вдруг так и брызнули из ее глаз – посыпались градом.

– Дурак! – прокричала она вслед уходящему Сегореву, прижимая мороженое к груди. – Идиот! Это кольцо ты мог бы надеть мне, если бы захотел. Может быть, я твоя судьба. Но ты ничего не понял!

Она резко повернулась и пошла в противоположную сторону. Мороженое таяло. Она слизывала его, а оно таяло. Слезы катились по щекам, и от этого мороженое было соленым на вкус.

***

Из юмористической автобиографии Сегорева, написанной им через десять лет: «Сегорев, Илья Николаевич, 1950 года рождения. Необычайный успех у женщин. Трижды был женат, трижды разведен. У каждой жены по ребенку от меня. Плачу алименты всем троим, так что от зарплаты остается с гулькин нос. Страдалец, обабившийся одинокий желчный брюнет,

хотя и доктор наук. Не могу забыть девушку, которая когда-то крикнула мне, что она моя судьба».

©, ИВИН А.Н., автор, 1980, 2010 г.

Алексей ИВИН

Кому повемь печаль мою?

I

Солнечным мартовским утром Андрей Шеркунов получил от невесты телеграмму: «Приезжаю субботу утром вагон двенадцатый встречай = Анна». Он любил эту женщину и рад был ее повидать. Счастливый, возбужденный, он купил на базаре букет тюльпанов, несколько полузамерзших бутонов с атласными лепестками на толстых зеленых стеблях. Сегодня у него было приподнятое настроение. Жизнь он вел довольно однообразную, уединенную, и ему захотелось как-нибудь так обставить встречу, чтобы она надолго запомнилась. Это были приятные хлопоты, сулившие развлечение, разговоры по душам, отдохновение от трудов в обществе хорошенькой женщины. Он считал ее своей невестой, и ему казалось, что единственное, что их разделяет, – это расстояние: он жил в Москве, а она – в Логатове. Он терпеливо выстоял длинную очередь за португальским портвейном, сподобострастничав выклянчил в театральной кассе два билета на «Дон-Жуана», прибрал запущенную холостяцкую квартиру, отутюжил брюки, купил для Анны обратный билет в купейном вагоне и полную сумку разных деликатесов. Он перестал покупать, когда кончились деньги. Если бы можно было предложить ей что-нибудь исключительное – например, поездку в Ниццу! – Когда коллеги, сотрудники многотиражной газеты, спросили, отчего он такой веселый, он предпочел не утаивать причину своей радости. «Чудак ты! Москвичку не мог найти, что ли?» – сказали они ему.

В ночь на субботу он почти не спал, потому что боялся проспать: поезд приходил в шесть утра, а до Ярославского вокзала было далеко. Он заказал такси и теперь терпеливо ждал.

Дневная радость перешла в томительное волнение. Он бродил по комнате, нервно потирая руки, курил, пробовал читать, но бросал книгу, потому что ни строчки в ней не понимал. Он был бы рад теперь любому человеку, но никого не было; город, громоздившийся за окнами черными фантомами домов, спал, и одинокий автомобиль изредка серой крысой пробегал по улице, усиливая одинокую тоску.

«Какой же я, однако, влюбленный! – думал Шеркунов, прислушиваясь к глухим ударам сердца. – Ведь если разобраться, всякий на моем месте лег бы спать, поставив будильник у изголовья, а меня какой-то бес толкает размышлять, мучиться. Теперь она из меня, если захочет, сможет вить веревки. Где моя гордость, мое благоразумие? Нельзя же, в самом деле, так нервничать!»

Взглянув в сотый раз в окно, он увидел, что такси чернеет у подъезда, и спустился. Таксист, скучающий в сонной уютной немоте, вырулил на пустынную улицу и заговорил, но Шеркунов думал о своем и отвечал скупо, и таксист со своими впечатлениями и заботами, как проситель у запертой двери, постоял и ушел. А черное такси, мерцая полировкой в свете уличных фонарей, катилось, мягко шурша, и двое цепенели внутри, будто в летаргическом сне, и каждый думал: кому повемь печаль мою?

На вокзале грусть Шеркунова развеялась. Еще людской шум, шарканье, кашель в душно-заспанных залах летали под высоким сводчатым потолком неявственно и приглу-

шенно, как множество летучих мышей, еще люди спали, скрючась посреди узлов и чемоданов, и пахло ночлежной вонью, но уже оживленнее хлопали входные двери, по-утреннему бойко пересвистывались тепловозы на путях и носильщики, ежась от холода, яростней громыхали тележками. И надо было скинуть сонную оцепенелость, чтобы встретить новый день.

Перронные часы показывали шесть, когда, тяжело ступая по рельсам, так что содрогалась земля, подошел поезд и остановился, облегченно отдуваясь. Тотчас же, как из фаршированной горохом кишки, из вагонов на платформу просыпались люди и покатились к вокзалу. Шеркунов посторонился, петляя взглядом по девичьим лицам, – не она ли? Нет, не она. И снова он всматривался во встречную толпу, которая неотвратимо редела. Последними мимо него прошли две замешкавшиеся старухи, и перрон опустел.

Досада и надежда последовательно сменяли друг друга. «Не может быть, чтобы она не приехала! Я проворонил ее», – подумал Шеркунов. Он обошел вокзал, заглянул во все залы, во все лица, не доверяя себе, уверяя себя, что обманулся. Но постепенно его охватила злость, потом тоска, хотя где-то в глубине души еще гнездилась слабая вера, что Анна приехала и, зная его адрес, уже поджидает его там, на лестничной площадке. С этой мыслью, утешаясь ею, замирая, поднимался по лестнице и вынужден был остановиться на середине, потому что от сердцебиения стал задыхаться, с этой мыслью подошел к двери.

Нет, никого нет.

От того, что он успел сам поверить в свой мираж, удар был еще сильнее. Он огорчился, как ребенок, прошел в комнату, сел на кровать, бессильно свесив руки. Пусто и одиноко. Впору заплакать. Только теперь он вдруг подумал, что Анну задержало, может быть, что-то непредвиденное. Эта мысль всколыхнула его. Значит, он должен поехать сам. Может, она заболела… А он, оскорбленный самолюбец, уже спешит обвинить ее. Да, надо поехать к ней.

Он внутренне ожил, обрадовался, достал спортивную сумку, положил туда конфеты, вино, цветы. Конечно же, с ней что-нибудь случилось, иначе бы она приехала; это ведь ясно, как божий день. Ну и кретин же он: впадает в мировую скорбь и чернит весь белый свет, не зная даже, провинился ли кто перед ним.

Неожиданно позвонили в дверь. Вошел разносчик телеграмм. Шеркунов, млея от недоброго предчувствия, расписался в получении, вскрыл телеграмму и прочитал: «Приехать не могу жду тебя субботу целую =Анна».

И тогда Шеркунов взбеленился. Он почувствовал такую боль и злобу, словно его ошпарили кипятком. Она не может приехать! Принцесса на горошине! Он готовился к встрече как к свадьбе, он обрыскал все магазины, он угробил все деньги, не спал ночью, терзался, как грешник на сковородке, она же одним росчерком пера все это зачеркнула. У нее, видите ли, настроение изменилось. Она не может! Но ведь это же издевательство! И если она думает, что такими вот штучками добьется от него рабской покорности, она просчиталась. Не бывать этому! Он не столь безнадежно влип, как она думает. А ведь он только что собирался ехать… Проклятая слабохарактерность! Чуть размягчился – и уже готов ползать на коленях, вымаливая ласки, как подаяния, – шут, фигляр, мальчик на побегушках, размазня. Нет, будь он проклят, если уступит! Мера за меру. Его ударили – и он ударит. Хлестко, зло, наотмашь. Его поцеловали – и он поцелует. Только так. Иначе не бывает…

Шеркунов был раздражительный человек, легко бросался из крайности в крайность и вряд ли понимал, что сейчас в нем бунтует уязвленное самолюбие.

Взбудораженный, обреченно решительный, он оделся и побежал на почту. Не терпелось выразить Анне свое негодование; он шел и с жестоким сладострастием придумывал, как бы порезче телеграфировать, чтобы она поняла, что всякому терпению есть предел. И терпение лопнуло. Написать бы ей: «Между нами все кончено». «Отныне между нами все кончено». «Я ненавижу тебя». «Прощай». «Я тебя не люблю больше». Именно так! Что может быть для женщины больнее, чем то, что ее разлюбили? Пусть помучается. Ему тяжело; пусть же и ей станет тяжело. Кто-то сказал что-то вроде: если тебе трудно, знай, что врагу твоему тоже приходится не сладко. Кажется, Суворов. Наука побеждать.

Мысли завихрились в голове Шеркунова, когда он, взмыленный как иноходец, истекая желчью, ворвался на почту. Но, просидев несколько минут, перепортив множество бланков и отвергнув десятки вариантов телеграммы, он неожиданно успокоился и уже начал подумывать, а не поехать ли действительно самому: в конце концов, надо быть джентльменом. Но эта мысль была еще слишком тягостна для самолюбия, и, обругав себя слюнтяем, рохлей, не способным проявить твердость и последовательность в намерениях, он сочинил, наконец, текст, который его удовлетворил. Жестко, но с достоинством: «Приезжай немедленно иначе все кончено= Андрей». Он верил, что это подействует.

Такая получилась словесная перепалка.

II

Анна расплакалась. Ей было обидно, горько. Она не ожидала такого ответа. Ведь должен же он был понять, что, раз уж она не приехала, ее что-то задержало! Именно на это понимание она и надеялась, когда, потеряв билет и обнаружив пропажу лишь за две минуты до отправления поезда, после тщетных призывов к великодушию проводницы («Ну пустите меня! Мне срочно нужно ехать!») послала ему вторую телеграмму. И вот ответ. В нем жесткий краткий ультиматум, надругательство над ее искренностью, над ее любовью.

Анна расплакалась. Ее мысли заметались, разноречивые чувства сплелись в борьбе: непереносимо захотелось уступить ему, и она проклинала себя, что не купила билет на другой поезд, но она опасалась унизиться, слишком раскрыться, опасалась, что он, польщенный уступкой, вскоре охладеет к ней. Ведь как всегда бывает с мужчинами? Стоит им несколько раз подряд убедиться, что их любят, как они остывают и, точно варвары, разграбив взятый ими город, нагрузившись драгоценностями, сытые, довольные, уходят, оставляя дымящиеся руины. Инстинктивно боясь этого, но одновременно сгорая от любви к своему мучителю, не умея ничего решить, Анна все плакала и плакала; силы покидали ее, наваливалась усталость и опустошенность, и все, что раздирало душу, теперь казалось ничтожным, вздорным, суетным. И это облегчало; и она плакала уже от жалости к себе, и знать, что она всеми брошена, покинута, что все от нее отвернулись и что она очень-очень несчастна, – знать это было невыразимо больно и сладко; и она истязалась этим, и успокаивалась, умиротворялась, как схимница после изнурительного самобичевания, окровавленная, в разодранных одеждах, но смирившая свою плоть, свой мятущийся дух. Поплакав, она почувствовала себя совсем разбитой, физически и душевно, и, размазывая слезы мокрой ладонью, побрела к трюмо, – посмотреть, какова-то она? Может, ей очень к лицу – плакать… А может, ей еще раз захотелось порисоваться своим несчастьем. Она ощутила трогательную заботливость, сострадательную нежность и жалость к своему унылому лицу с припухшими веками, с блестящими от слез, трагическими глазами и потеками на щеках. Забывшись, залюбовавшись собой, она поняла, что обижать, не любить такую искреннюю, такую красивую и добрую женщину, как она, – глупо, нерасчетливо. Она почувствовала легкое презрение к Шеркунову и отошла от зеркала. Теперь, когда злые страсти улеглись, она стала тиха, ровна, горделива, как лес после грозы, когда среди срывающихся капель, мокрого шелеста тонких осинок и дробящихся солнечных лучей сперва робко, а потом все смелей разливается песня какой-нибудь пташки.

Остаток дня Анна провела в мелких заботах. Пока она обегала магазины, пока готовила обед (ее мать работала проводницей в поезде дальнего следования, поэтому Анна часто хозяйничала одна и поэтому хотела отправиться к Шеркунову; заручиться же от матери проездным и льготами ей как-то не пришло на ум), пока болтала по телефону с подругами, она избавлялась от мыслей о Шеркунове, но как только наступил вечер, эти мысли вновь завладели ею. Они, навязчивые, углубленные, обессиливали ее: она не привыкла так много думать, принимать и отвергать столько решений. Она боялась, что не вынесет нравственного самосуда и уедет к Шеркунову. Она не любила ни думать, ни решать, ни осуждать себя и искала развлечений. Поэтому ее ум, едва начав просыпаться, тут же засыпал вновь; все ее поступки основывались на чувствах, неосознанных влечениях, симпатиях и антипатиях.

Вот и сейчас она захотела успокоения, вспомнила, что подруги пригласили ее на студенческую вечеринку, тщательно оделась и вышла.

Она должна поступить с ним так же жестоко, как он с ней. Мера за меру. Неужели он думает, что она такая дурнушка, что не способна нравиться другим? Еще как способна! И точно девочка, которую ни за что ни про что выбранили родители, нарочно толкает бабушку, или ломает игрушку, или отказывается есть, – так и ей захотелось вредничать. Ее самолюбие восстало. Воспламененная, словно кулачный боец, которому под свист и одобрительное улюлюканье простонародья выбили зуб, – она вспыхнула ответным гневом. Она забыла, что еще недавно, во время их последней встречи, уверяла его в любви. В л ю б в и. Но и тогда, и сейчас она была права; тогда – потому что он баюкал ее самолюбие, он нежил ее, называл ласковыми именами, водил в театр, дарил цветы, и она любила его, осчастливленная, что он п р и н а д л е ж и т ей и все это видят; сейчас – потому, что он оскорбил ее самолюбие, святая святых молодости, и она чувствовала, что если простит, то вынуждена будет прощать и впредь. А этого она не хотела. Может быть, он считает, что она покушается на его московскую квартиру? Бог с ней, с квартирой, ей и в Логатове неплохо. Глупо в ее-то годы привязываться к одному человеку, как будто нет других. Она никому не позволит командовать ею: она свободный человек…

Анна зашла к подругам. Они уже были готовы и, оживленные, поджидали ее. Вечер в политехническом институте обещал быть интересным.

Действительно, в танцевальном зале толпилось много парней. На сцене гитаристы настраивали гитары. Свет был притушен. Принужденно ждали, когда зазвучит музыка.

Щебечущей стайкой впорхнув в зал, Анна и ее подруги образовали кружок и принялись болтать о том о сем. Они обсудили одного, второго, третьего из своих знакомцев, живо представляя их в лицах, но, наконец, и ими овладело нетерпение: музыканты все еще копались в инструментах.

Анна чувствовала на себе чей-то взгляд. Она внимательно изучила зал, но никого, кто бы уж чересчур явно буравил ее глазами, не обнаружила. Она подумала, что это с ней от нервозности. Однако ощущение не проходило, и она забеспокоилась: невпопад отвечала, некстати смеялась или вдруг замирала, приподняв голову, устремив вверх мечтательный взор, – поза, которая, как ей казалось, красила ее и нравилась другим.

Наконец зазвучало тягучее танго; все замолчали и притихли; середина зала начала заполняться танцующими. Анна, прислонясь к стене, ждала, не пригласит ли ее кто-нибудь. Ее больно кольнуло, что месть, которую она задумала и так красочно расписала в воображении, осуществить куда труднее. Она затаенно и страстно хотела, чтобы с ней протанцевали хоть раз, – пусть маленький, но отыгрыш в пику зарвавшемуся себялюбцу Шеркунову.

Она обмерла и возликовала, когда увидела, как из противоположного угла зала направляется рослый блондин; их взгляды скрестились, и она поняла: он к ней… Она едва дождалась, когда он, как полагается в таких случаях, улыбнулся, что-то сказал и взял ее за руку. Золотисто-кудрявый Адонис с открытым прямодушным лицом, он бережно обнял ее, словно укутал цветок. Они познакомились.

Когда танец кончился, Леонид остался с ней, ненавязчиво поддерживая разговор. Он немногословно намекнул, что она ему понравилась, и оттого, что он сделал это мимоходом, она поверила больше, чем если бы он рассыпался в комплиментах. Она скорее почувство-

вала, чем поняла, что все в нем основательно, надежно, прочно, что он действительно интересуется ею, хотя и сдержанно. Вот я, каков есть, – казалось, говорил он, лениво и однообразно жестикулируя правой рукой, точно взвешивая.

После танцев вышли вместе: Леонид вызвался ее проводить. Путь к дому проходил через железнодорожный вокзал. Холодная ли ночь, какие случаются ранней весной, когда оттаявший за день тротуар к вечеру покрывается ледяной коркой и влажный воздух цепенеет замерзая; сознание ли, что она отомщена, что она способна нравиться, и вызванный этим прилив самодовольства; или, может быть, простое доверительное спокойствие, – что бы там ни было, Анна была признательна Леониду. Теперь, когда он выделил ее и доказал ей, сомневающейся, что она красива и это неоспоримо, к ней вернулась та трезвая беспечность, которая неприступно возвышала ее; теперь она подсмеивалась над его манерой взвешивать слова, точно камни, над его сугубой серьезностью.

И вдруг она увидела Шеркунова. От изумления она остановилась. С сумкой через плечо, быстро ныряя, он шел навстречу. Как он здесь оказался? Когда приехал? Она суматошливо дернулась, как вор, пойманный с поличным: отступила, отвернулась; ее охватил внезапный страх. Она попыталась схорониться за спину Леонида и этим выдала себя. Тот, ничего не понимая, отшатнулся, и Шеркунов увидел ее. Она это почувствовала. Ее страх возрастал с каждым его шагом, панический страх: как во сне, когда убийца заносит нож, и хочешь убежать, но не можешь. Скорей бы ударил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.